



АНАТОЛЬ ФРАНС  
СОВРЕМЕННАЯ  
ИСТОРИЯ



Милл 495

## Annotation

«Современная история» (1897–1901), объединяющая четыре романа «Под городскими вязами», «Ивовый манекен», «Аметистовый перстень» и «Господин Бержере в Париже», это – историческая хроника с философским освещением событий. Как историк современности, Франс обнаруживает пронизательность и беспристрастие учёного изыскателя наряду с тонкой иронией скептика, знающего цену человеческим чувствам и начинаниям.

Вымышленная фабула переплетается в этих романах с действительными общественными событиями, с изображением избирательной агитации, интриг провинциальной бюрократии, инцидентов процесса Дрейфуса, уличных манифестаций. Наряду с этим описываются научные изыскания и отвлечённые теории кабинетного учёного, неурядицы в его домашней жизни, измена жены, психология озадаченного и несколько близорукого в жизненных делах мыслителя.

В центре событий, чередующихся в романах этой серии, стоит одно и то же лицо – учёный историк Бержере, воплощающий философский идеал автора: снисходительно-скептическое отношение к действительности, ироническую невозмутимость в суждениях о поступках окружающих лиц.

---

- [Анатоль Франс](#)
  - [I](#)
  - [II](#)
  - [III](#)
  - [IV](#)
  - [V](#)
  - [VI](#)
  - [VII](#)
  - [VIII](#)
  - [IX](#)
  - [X](#)
  - [XI](#)
  - [XII](#)
  - [XIII](#)
  - [XIV](#)
  - [XV](#)
  - [XVI](#)

- [XVII](#)
- [XVIII](#)
- [XIX](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)
  - [19](#)
  - [20](#)
  - [21](#)
  - [22](#)
  - [23](#)
  - [24](#)
  - [25](#)
  - [26](#)
  - [27](#)
  - [28](#)
  - [29](#)
  - [30](#)
  - [31](#)
  - [32](#)
  - [33](#)
  - [34](#)
  - [35](#)

- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)

- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)

---

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

**Анатолий Франс**  
**Ивовый манекен**



Господин Бержере, преподаватель филологического факультета, готовился у себя в кабинете к лекции о восьмой книге «Энеиды» под резкие звуки пианино, на котором его дочери барабанили за стеной трудные упражнения. В кабинете г-на Бержере было всего одно окно, правда широкое, венецианское, но оно упиралось в высокую стену напротив, и толк от него был небольшой; рамы были плохо пригнаны, от окна дуло, а света оно давало мало. На письменный стол, придвинутый к окну, падал скупой отраженный свет. Собственно говоря, кабинет, в котором профессор оттачивал свою тонкую гуманистическую мысль, был просто неприглядным закоулком, или, скорее, двумя закоулками, разделенными пролетом большой лестницы, круглый выступ которой нагло вторгался в комнату, выпирая чуть не к самому окну и оставляя справа и слева два каких-то несуразных и уродливых тупика. Этот выпяченный каменный живот, прикрытый зелеными обоями, занимал столько места в неприветливой, не отвечающей требованиям геометрии и разумного вкуса комнате, что г-н Бержере с трудом отыскал узенький, ровный простенок, куда могли бы уставить простые книжные полки, на которых в постоянном полумраке терялся желтый ряд тейбнеровских изданий. Сам же г-н Бержере уютился у окна, там он писал, чувствуя, как эта неприязненная обстановка замораживает слог, и благодарил судьбу, когда рукописи его не были перерыты и изорваны, а перья не разевали сломанных клювов. Таковы были обычно результаты нашествий на его кабинет г-жи Бержере, которая приходила туда записывать белье и расходы. Сюда же в кабинет она поместила и манекен, на котором примеряла юбки собственной работы. Так и стоял он тут, рядом с научными изданиями Катулла<sup>[1]</sup> и Петрония,<sup>[2]</sup> этот

ивовый манекен, символ супружеской жизни.

Господин Бержере готовился к лекции о восьмой книге «Энеиды», и он обрел бы в этой работе, пускай не радость, но хотя бы спокойствие духа и ничем не заменимый душевный мир, если бы, изучая текст, не отвлекся от особенностей стихосложения и языка, на которых исключительно надлежало ему сосредоточиться, и не погрузился в созерцание гения, души и форм античного мира; если бы не отдался желанию собственными глазами поглядеть на позлащенные берега, на синее море, розовые горы, на прекрасные селения, куда поэт переносит своих героев, и не впал в уныние, горько сожалея о том, что ему не дано, как Гастону Буасье или Гастону Дешану, посетить берега, где некогда стояла Троя, увидеть виргилиевские пейзажи и вдохнуть воздух Италии, Греции и священной Азии. Кабинет показался ему таким печальным, и глубокое отвращение переполнило его сердце. Он был несчастен по собственной вине, ибо подлинные наши огорчения – всегда внутреннего порядка и причина их кроется в нас самих. Мы думаем, будто они приходят извне, но это неверно, мы сами создаем их в глубине собственного существа.

Так г-н Бержере, одиноко сидя у подножия огромного оштукатуренного цилиндра, сам придумывал себе огорчения и печали, размышляя о том, что жизнь у него незаметная, замкнутая и безрадостная, что жена его давно уже утратила былую красоту, что душа у нее мещанская и что в битвах Турна<sup>[3]</sup> и Энея нет ничего интересного. От этих мыслей отвлек г-на Бержере приход его ученика, г-на Ру, который отбывал воинскую повинность и потому предстал перед профессором в красных штанах и синем мундире.

– Ишь ты! – сказал г-н Бержере. – Моего лучшего латиниста вырядили героем!

И так как г-н Ру запротестовал, что он совсем не герой, профессор сказал:

– Я знаю, что говорю. Я называю героем всякого, кто носит саблю. Будь на вас медвежья шапка, я назвал бы вас великим героем. Надо же хотя немного польстить человеку, которого посылают на убой. Это самая дешевая плата за исполнение тех обязанностей, которые мы на него возлагаем. Но я от всей души желаю, друг мой, чтобы вам не пришлось обессмертить себя геройским поступком и чтобы людскую хвалу вам стяжали лишь ваши познания в латинском стихосложении.

Это искреннее желание внушено мне любовью к родине. Изучение истории убедило меня, что героизм встречается только у побежденных и во время поражений. У римлян, – народа вовсе не такого воинственного, как



это полагают, и часто терпевшего поражения, – Деции<sup>[4]</sup> рождались лишь в самые тяжелые минуты. В битве при Марафоне<sup>[5]</sup> героизм Кинегира<sup>[6]</sup> проявился как раз тогда, когда афиняне оказались слабы и, остановив варварскую армию, не могли помешать ей погрузиться на корабли вместе со всей персидской конницей, успевшей отдохнуть на равнине. Да и персы, по-видимому, были не особенно рьяны в этой битве.

Господин Ру поставил саблю в угол и сел на стул, предложенный ему профессором.

– Вот уже четыре месяца, – сказал он, – как я не слышал умного слова. Сам я за эти четыре месяца сосредоточил все силы своего рассудка на том, чтобы ценою умеренных щедрот снискать расположение капрала и сержанта. Только эту сторону военного искусства я постиг в совершенстве. Но она самая важная. Зато я окончательно утратил способность к отвлеченному мышлению и игре ума. А вы мне толкуете, дорогой учитель, что греки были, разбиты при Марафоне и что римляне не были воинственным народом. У меня голова идет кругом.

Г-н Бержере ответил спокойно:

– Я только сказал, что Мильтиаду<sup>[7]</sup> не удалось сокрушить силы варваров; римляне же по природе своей не были воинами, раз их завоевания оказались плодотворны и длительны, в противоположность завоеваниям истинных воинов, которые все захватывают и ничего не удерживают, – взять хотя бы французов.

Надо еще отметить, что в царском Риме чужеземцев не принимали в солдаты. Но во времена доброго царя Сервия Туллия<sup>[8]</sup> граждане, мало дорожившие честью нести самим все бремя военных трудов и опасностей, привлекли к службе и чужеземцев, поселившихся в Риме. Герои бывают; не бывает народов-героев; не бывает армий-героев. Солдаты всегда шли вперед только под угрозой смерти. Военная служба была ненавистна даже тем пастухам Лациума, которые стяжали Риму мировое господство и славу божественного города. Солдатская амуниция так их тяготила, что название этой амуниции – *aegipna* – впоследствии стало обозначать изнурение, усталость тела и духа, нищету, несчастье, бедствия. Под умелым руководством они стали не героями, но хорошими солдатами и хорошими землекопами. Мало-помалу они завоевали весь мир и покрыли его проезжими и шоссейными дорогами. Римляне никогда не искали славы: у них не было воображения. Они вели войны, только когда это было выгодно и абсолютно необходимо. Их победы – победы терпения и здравого смысла.

Людьми управляет то чувство, которое в них наиболее сильно. У

солдат, как и у всякой толпы, наиболее сильное чувство – страх. Они идут на врага, ибо это наименьшая опасность. Когда два войска стоят лицом к лицу, бегство невозможно ни для того, ни для другого. В этом и заключается все искусство сражений. Республиканские армии побеждали потому, что в них чрезвычайно сурово поддерживалась дисциплина, существовавшая при старом режиме; в войсках же союзников дисциплина была ослаблена. Наши генералы Второго года были сержантами Ла-Раме, ежедневно расстреливавшими полдюжины рекрутов, чтобы, как говорил Вольтер, придать мужества остальным и поднять в них великий патриотический дух.

– Весьма возможно, – сказал г-н Ру. – Но тут есть и кое-что другое. Я говорю о врожденной любви к стрельбе. Вы знаете, дорогой профессор, я не из породы хищников. У меня нет вкуса к военщине. Напротив, я исповедую передовые гуманные убеждения и верю, что торжество социализма приведет к братству народов. Словом, я люблю людей. Но как только мне сунут в руки винтовку, меня так и тянет всех перестрелять. Это уж в крови...

Господин Ру был красивый и рослый молодой человек; он быстро освоился в полку. Трудные военные упражнения оказались как раз по его сангвиническому темпераменту. Кроме всего прочего, он был чрезвычайно хитер и не то чтобы вошел во вкус военного ремесла, но во всяком случае приунылся к казарменной жизни и сохранил здоровье и хорошее настроение.

– Вам неизвестно, дорогой профессор, – прибавил он, – сила внушения. Достаточно дать человеку в руки штык, и он тут же вспорет живот первому встречному и сделается, как вы говорите, героем.

Южный говор г-на Ру еще не замолк, когда г-жа Бержере вошла в кабинет, хотя обычно присутствие мужа ее туда не привлекало. Г-н Бержере заметил, что на ней был красивый капот, розовый с белым.

Она изобразила удивление, застав там г-на Ру, и сказала, что пришла попросить у мужа томик каких-нибудь стихов, почитать от скуки.

Профессор заметил еще, не придавая тому никакого значения, что она как-то вдруг стала любезной и даже почти красивой.

Господин Ру снял со старого кресла, обитого молескином, словарь Фрейнда и предложил г-же Бержере сесть. Г-н Бержере взглянул на толстые тома, сброшенные с кресла, поток на жену, занявшую их место, и подумал, что эти два скопления вещества, совершенно обособившиеся в настоящее время и теперь такие различные по своему виду, природе и назначению, первоначально были однородны и оставались однородными в

течение всего времени, пока они оба – и словарь, и женщина – тогда еще в газообразном состоянии носились в первобытной туманности.

«Ведь в беспредельности веков, – думал он, – Амели носилась в виде неоформленной и неодушевленной материи, распыленной в чуть мерцающих облаках кислорода и углерода, и молекулы, которые должны были впоследствии составить этот латинский лексикон, тоже скоплялись в течение веков в той же туманности, откуда в конце концов вышли огромные чудовища, насекомые и небольшая доля мысли. Понадобилась целая вечность, чтобы создать мой словарь и мою жену, эти памятники моей многотрудной жизни, эти несовершенные и часто несносные формы. Словарь полон ошибок. У Амели раздобревшее тело и сварливая душа. Вот почему нет никакой надежды, что новая вечность создаст, наконец, науку и красоту. Мы живем один миг, но мы ничего не выиграли бы, если бы жили вечно. У природы было достаточно и времени и пространства – и вот итог ее трудов».

И беспокойная мысль г-на Бержере продолжала работать:

«Что такое время, как не движения природы, и разве могу я сказать, продолжительны они или коротки? Природа жестока и скучна. Но откуда этот вывод? И как посмотреть на нее со стороны? А ведь иначе нельзя познать ее и судить о ней. Быть может, вселенная показалась бы мне лучше, ежели бы я занимал в ней другое место».

И г-н Бержере, прервав размышления, нагнулся и пододвинул к стене неустойчивую стопку томов ин-кварти.

– Вы немного загорели, господин Ру, – сказала г-жа Бержере, – и как будто немного похудели. Но это вам к лицу.

– Первые месяцы очень устаешь, – ответил г-н Ру. – Ученье в шесть утра на казарменном дворе при восьмиградусном морозе, само собой разумеется, тяжело, да и жить всегда на людях вначале очень противно. Но усталость – хорошее лекарство, а одурь – замечательное средство. Все ощущения притупляются, будто ты живешь под слоем ваты. За ночь не высыпаясь, спишь тревожным сном, так что днем ходишь как одурманенный. Сонный автоматизм, в котором ты пребываешь, благоприятен для дисциплины, соответствует военному духу и благотворно действует на физическое и моральное состояние войск.

В общем, г-н Ру не мог пожаловаться. Но у него был приятель, Деваль, изучавший малайский язык в институте восточных языков, – тот чувствовал себя несчастным и угнетенным. У Деваля – человека умного, образованного, мужественного, но негибкого духовно и физически, неуклюжего и неловкого, – было сильно развито чувство справедливости,

благодаря чему он отдавал себе ясный отчет в своих правах и обязанностях. Он страдал от такой ясности сознания. Уже на вторые сутки пребывания в казарме сержант Лебрек спросил его в выражениях, которые г-ну Ру пришлось смягчить, чтобы не оскорблять слуха г-жи Бержере, какая малопочтенная особа могла произвести на свет такого осла, как этот номер пятый, который даже держать равнения не умеет. До сознания Девалья не сразу дошло, что именно он «осел номер пятый». Пришлось посадить его под арест, и только тогда рассеялись его сомнения на этот счет. Но даже и тогда он не понял, почему, если он не держит равнения, задевают честь г-жи Деваль, его матери. Неожиданная ответственность матери за это обстоятельство противоречила его идеалу справедливости. Прошло четыре месяца, а он все еще переживал скорбное недоумение.

– Ваш друг Деваль, – возразил г-н Бержере, – неправильно истолковал воинственную речь; я же считаю, что она может поднять дух солдат и побудить их к ревностной службе, заронив в них желание заработать нашивки и тогда в свою очередь произносить подобные же речи, явно указывающие на превосходство того, кто их произносит, над тем, к кому они обращены. Непредусмотрительно ограничивать права военного начальства, как это сделал в недавнем циркуляре некий военный министр, человек мирный и исполненный миролюбия, человек благовоспитанный и исполненный благих намерений, человек порядочный, который из уважения к солдату-гражданину, предписал офицерам и унтер-офицерам не говорить «ты» подчиненным, но упустил из виду, что презрение к низшему – мощный двигатель всякого соревнования и основа иерархии. Сержант Лебрек говорил как герой, воспитывающий героев. Я могу восстановить его речь в ее первоначальной форме, ведь я филолог. Ну, так вот, я без колебания скажу, что этот сержант Лебрек высказал глубокую мысль, связав честь семьи с равнением в строю, поскольку от выправки рекрута зависит исход битвы, и таким образом уже с самого рождения приобщив номер пятый к полку и знамени...

Вы мне, быть может, скажете, что я делаю ошибку, обычную для комментаторов, и приписываю автору мысли, которых у него вовсе не было. Допускаю, что в достопамятной речи сержанта Лебрека была доля бессознательности. Но в этом-то и сказывается гений. Он блещет, сам не сознавая своей силы.

Господин Ру с улыбкой ответил, что тоже предполагает известную долю бессознательности во вдохновенной речи сержанта Лебрека.

Но г-жа Бержере сухо сказала мужу:

– Не понимаю тебя, Люсьен. Ты смеешься над тем, что вовсе не

смешно. У тебя не поймешь, шутишь ли ты или говоришь всерьез. С тобой невозможно разговаривать.

– Моя жена одного мнения с деканом, – сказал г-н Бержере. – Надо признать, что они оба правы!

– Ах, – воскликнула г-жа Бержере, – не тебе говорить о декане! Ты сам всячески восстанавливал его против себя, а теперь досадуешь из-за собственной неосмотрительности. И с ректором тоже нашел случай поспорить. В воскресенье я его встретила в городском саду, когда гуляла с дочерьми, – так он мне едва поклонился.

Она обратилась к молодому военному:

– Господин Ру, я знаю, что муж к вам очень расположен. Вы у него любимый ученик. Он предсказывает вам блестящую будущность.

Господин Ру, загорелый, курчавый, сверкнув зубами, улыбнулся без излишней скромности.

– Господин Ру, убедите мужа быть любезнее с людьми, которые могут быть ему полезны. Вокруг нас образуется пустота.

– Что вы, сударыня, помилуйте! – пробормотал г-н Ру и перевел разговор на другую тему.

– Крестьяне с трудом дотягивают положенные три года. Они страдают! Но никто об этом не знает, потому что все свои переживания они выражают самым обыденным образом. Оторванные от земли, которую любят животной любовью, они чувствуют себя на чужбине в неволе и впадают в немую, унылую и глубокую тоску, от которой их отвлекает только страх перед начальством и усталость. Все им кажется чужим и трудным. В нашей роте есть два бретонца, и они никак не запомнят фамилии полковника, хотя твердят ее уже полтора месяца. Каждое утро, выстроившись перед сержантом, мы повторяем вместе с ними эту фамилию, так как военное ученье одно для всех. Нашего полковника зовут Дюпон. То же самое и на других занятиях. Люди способные и ловкие вынуждены топтаться на одном месте из-за тупиц.

Господин Бержере спросил, в ходу ли у офицеров так же, как у сержанта Лебрека, воинственное красноречие.

– Наш капитан, – ответил г-н Ру, – еще юнец; он напротив, соблюдает самую изысканную вежливость. Это эстет, розенкрейцер.<sup>[9]</sup> Он рисует бледных дев и ангелов в розовых и зеленых облаках. А я сочиняю к этим картинкам подписи. Деваль несет всякие наряды на казарменном дворе, я же состою при капитане, который заказывает мне стихи. Он очарователен. Зовут его Марсель де Лажер, он выставляет свои картины в «Эвр» под псевдонимом Син.

– И этот тоже герой? – спросил г-н Бержере.

– Он – Георгий Победоносец, – ответил г-н Ру. – В военную службу он вкладывает какую-то мистику. Говорит, что это идеальное состояние. Слепо движешься к неведомой цели. Благоговейно, целомудренно и сурово идешь на необходимое и таинственное самопожертвование. Он восхитителен. Я учу его свободному стиху и ритмической прозе. Он сам начинает уже слагать гимны в честь армии. Он счастлив, он спокоен, он нежен. Одно только его огорчает: знамя. Синий, белый и красный цвета кажутся ему неподходящими и резкими. Ему хотелось бы, чтобы знамя было розовым или лиловым. Он мечтает о небесных стягах. «Если бы еще все три цвета, – говорит он с грустью, – шли от самого древка, как три вымпела на орифламме, это было бы терпимо. Но вертикальные полосы с нелепой резкостью пересекают развевающиеся складки!» Он страдает. Впрочем, он терпелив и мужественен. Говорю вам, это – Георгий Победоносец.

– По вашему описанию, – сказала г-жа Бержере, – он мне очень нравится.

И сказав это, она строго посмотрела на мужа.

– Ну, а других офицеров он не удивляет? – спросил г-н Бержере.

– Нисколько, – ответил г-н Ру. – В офицерском собрании и на вечеринках он ничего не говорит и ничем не отличается от прочих.

– А солдаты что о нем думают?

– Они не видят в казарме своих офицеров.

– Вы отобедаете с нами, господин Ру, – сказала г-жа Бержере. – Это доставит нам истинное удовольствие.

При этих словах г-н Бержере прежде всего представил себе пирог. Каждый раз, как г-жа Бержере неожиданно оставляла кого-нибудь к обеду, она заказывала кондитеру Маглуару пирог, и предпочтительно не мясной, а более легкий. Итак, г-н Бержере, без вожделения, чисто умозрительно, представил себе пирог с яйцами или с рыбой, дымящийся на блюде с синим узором, на камчатной скатерти. Видение пророческое и обыденное. Потом он подумал, что жена, должно быть, питает особое пристрастие к г-ну Ру, раз она попросила его отобедать, потому что Амели редко приглашала посторонних к своим скромным трапезам. Она вполне резонно боялась лишних расходов и хлопот; дни званых обедов ознаменовывались звоном разбитых тарелок, испуганными криками и слезами негодования молодой служанки Эфеми, едким чадом, наполнявшим всю квартиру, и запахом кухни, который, проникая в кабинет, раздражал г-на Бержере, окруженного тенью Энея, Турна и кроткой Лавинии.<sup>[10]</sup> Несмотря на все это, г-н Бержере был доволен, что его ученик г-н Ру обедает сегодня у них. Он

любил общение с людьми и с удовольствием вел неторопливые беседы.

Госпожа Бержере прибавила:

– Но только уж не взыщите, господин Ру.

И она вышла, чтобы распорядиться.

– Друг мой, – сказал г-н Бержере ученику, – вы все по-прежнему ратуете за свободный стих? Я знаю, что поэтические формы меняются в зависимости от времени и места. Мне неизвестно, что французский стих пережил на протяжении веков бесчисленные изменения, и я могу, укрывшись за своими тетрадами по стихосложению, втихомолку посмеиваться над предрассудком поэтов, которые считают святотатством всякое посягательство на предмет, освященный их гением. Я замечаю, что они не объясняют, на чем основаны правила, которым они следуют, и склонен думать, что этой основы надо искать не в самих стихах, а скорее в пении, первоначально их сопровождавшем. Наконец, я склонен принять новшества еще и потому, что подхожу к ним с точки зрения науки, по природе своей менее консервативной, чем искусство. И все-таки я плохо понимаю свободный стих, и определение его от меня ускользает. Меня смущает нечеткость его границ и...

Тут в кабинет вошел молодой еще человек, стройный, с тонкими, словно отлитыми из бронзы, чертами лица. Это был командор Аспертини из Неаполя, филолог, агроном и депутат итальянского парламента; он уже десять лет поддерживал с г-ном Бержере ученую переписку, подобно великим гуманистам эпохи Возрождения и XVII века, и всякий раз, попадая во Францию, не забывал навестить своего зарубежного корреспондента. Карло Аспертини был широко известен в ученом мире тем, что расшифровал на одном из обуглившихся помпейских свитков целый трактат Эпикура. В настоящее время он занимался сельским хозяйством, политикой, делами, – однако вместе с тем страстно любил нумизматику, и его изящные пальцы так и тянулись к медалям. В город \*\*\* его влекло и удовольствие, которого он ожидал от встречи с г-ном Бержере, и страстное желание еще раз посмотреть замечательную коллекцию древних монет, завещанную городской библиотеке Буше де ла Саллем. Он хотел также сличить письма Муратори<sup>[11]</sup> с находящимися там подлинниками. Эти два человека которых сроднила наука, радостно пожали друг другу руки. А когда неаполитанец заметил, что тут же, в «студио», находится незнакомый ему военный, г-н Бержере сказал, что мот гальский воин – молодой филолог, ревностно занимающийся латинским языком.

– В этом году, – прибавил г-н Бержере, – его обучают шагистике на казарменном дворе. И в его лице вы видите то, что наш доблестный

дивизионный генерал Картье де Шальмо именуется элементарным тактическим орудием, попросту говоря: солдата. Господин Ру, мой ученик, – солдат. У него благородная душа, и он чувствует, сколь это почетно. По правде сказать, эту честь он разделяет в настоящее время со всеми молодыми людьми высокомерной Европы, в том числе и с вашими неаполитанцами, с тех лор как они стали частью великой нации.

– При всей моей преданности Савойскому дому, – ответил командор, – должен сознаться, что военная служба и подати в достаточной мере надоели неаполитанскому народу и иногда он жалеет о добрых временах короля Бомбы<sup>[12]</sup> и о сладости незаметного существования под властью легкомысленного правительства. Народ не любит ни платить, ни служить. Законодателям следовало бы лучше разбираться в нуждах народной жизни. Вы знаете, что в политике я всегда был против мании величия и возмущался ростом вооружений, задерживающим умственный, нравственный и материальный прогресс Европейского континента. Это – великое безумие, которое нас разорит и сделает всеобщим посмешищем.

– Да, но как положить ему конец? – ответил г-н Бержере. – Никто об этом не думает, разве только несколько мудрецов, но у них нет ни силы, ни влияния. Глава государства не может желать разоружения, потому что тогда его обязанности стали бы слишком трудными, положение непрочным и он лишился бы превосходного орудия власти. Ибо вооруженные нации покорно подчиняются правителям. Военная дисциплина приучает к послушанию, не приходится опасаться восстаний, бунтов или каких бы то ни было волнений. Когда воинская повинность обязательна для всех, когда каждый гражданин либо солдат, либо был солдатом, тогда все социальные силы распределяются так, что поддерживают власть или даже безвластие, как мы это видели во Франции.

Когда г-н Бержере дошел до этого места своих политических рассуждений, за стеною, в кухне, вдруг зашипело сало, пролитое на горячие угли, из чего профессор заключил, что юная Эфеми, как это обычно случалось в дни приемов, опрокинула сковороду в огонь, неосмотрительно поставив ее на горку угля. Он установил, что это повторялось с неуклонной точностью законов, управляющих вселенной. Смрадный запах подгоревшего сала проник в кабинет, а г-н Бержере продолжал развивать свои мысли.

– Если бы Европа не была казармой, в ней, как это и бывало раньше, вспыхивали бы восстания – то во Франции, то в Германии, то в Италии. Теперь же стихийным силам, которые по временам вздымают баррикадами столичную мостовую, находят систематическое применение в казарменных



нарядах, в чистке лошадей и в патриотическом чувстве.

Чин капрала – предусмотрительно оставленный выход для энергии молодых героев, а будь они свободны, они принялись бы строить баррикады, чтобы размять себе руки. Вот только сейчас я узнал, что один сержант, по имени Лебрек, произносит великолепные речи. Если бы на этом герое была блуза, он стремился бы к свободе. Теперь же, когда на нем мундир, он стремится к тирании и поддерживает порядок. Спокойствие внутри страны легко обеспечить, когда население под ружьем, и обратите внимание, – если за последние двадцать пять лет Париж разок и поволновался, то ведь это движение было вызвано военным министром.<sup>[13]</sup> Генерал сделал то, чего не мог бы сделать народный трибун. Когда же этот генерал был удален из армии, то он отдалился и от народа и потерял силу. При любом государственном строе, – будь то монархия, империя или республика, – правители заинтересованы в обязательной воинской повинности, они предпочитают командовать армией, а не управлять народом.

Разоружение, нежелательное для них, нежелательно также и для населения. Оно легко мирится с военной службой, которая, правда, лишена приятности, но зато соответствует жестокому и первобытному инстинкту большинства людей, воспринимается ими как наиболее простое, грубое и сильное выражение долга, подавляет их огромностью и блеском всей военной машины, обилием металла и, наконец, возбуждает картинами мощи, величия и славы, доступными их воображению. Они идут на военную службу с песнями, а не пойдут, так их заберут силой. Вот потому-то я и не предвижу конца этому состоянию, которое влечет за собой обнищание и отупение Европы.

– Существуют два выхода, – ответил командор Аспертини, – война и банкротство.

– Война! – воскликнул г-н Бержере. – Совершенно очевидно, что усиленные вооружения отдаляют войну, так как делают ее слишком страшной и не обеспечивают победы ни той, ни другой стороне. А что касается банкротства, то я сам вчера еще предсказывал его, сидя на скамейке в городском саду, господину аббату Лантеню, ректору духовной семинарии. Но моим словам не стоит придавать значения. Вы слишком хорошо изучили историю Византийской империи, дорогой господин Аспертини, и потому, конечно, знаете, что у государства существуют какие-то таинственные финансовые источники, которые не поддаются учету экономистов. Разоренное государство может существовать пять столетий грабежом и незаконными поборами; и как подсчитать, сколько пушек,

ружей, плохого хлеба, плохой обуви, соломы и овса при всей своей нищете может поставить большая страна своим защитникам?

– Ваши слова похожи на истину, – сказал командор Аспертини. – Но мне кажется, что уже встает заря всеобщего мира.

И славный неаполитанец певучим голосом стал высказывать свои надежды и мечты под глухой стук ножа, которым юная Эфеми рубила за стеной, на кухонном столе, мясо для г-на Ру.

– Вы помните, господин Бержере, – говорил командор Аспертини, – то место из «Дон-Кихота», где Санчо жалуется, что на него сыплется одна беда за другой, а неунывающий рыцарь отвечаем ему, что долгие бедствия предвещают близкое счастье. «Судьба изменчива, – говорит он, – беды наши были слишком продолжительны и теперь должны уступить место счастью». Только закон изменения...

Конец этих радужных мыслей потерялся в громком шипении кипятка, сопровождавшемся нечеловеческими криками Эфеми, которая в ужасе бросилась прочь от плиты.

Тогда г-н Бержере, удрученный неприглядностью своей скромной домашней обстановки, размышлял о вилле на берегу синего озера, о белой террасе, где он предавался бы безмятежным беседам с командором Аспертини и г-ном Ру, среди благоуханных миртов, в час, когда влюбленная луна смотрит с неба, ясного, как взор благосклонных богов, и нежного, как дыхание богинь.

Но он быстро очнулся от своих грез и вновь принял участие в прерванном разговоре.

– Война, – сказал он, – чревата последствиями. Из письма моего уважаемого друга Вильяма Гаррисона я узнал, что с тысяча восемьсот семьдесят первого года французская наука перестала пользоваться почетом в Англии и что в университетах Оксфорда, Кембриджа и Дублина намеренно игнорируется руководство по археологии Мориса Ренуара, хотя из всех подобных трудов это – лучшее пособие для студентов. Но там не желают учиться у побежденных. Профессор, читающий об эгинском искусстве<sup>[14]</sup> или о происхождении греческой керамики, должен принадлежать к нации, которая славится искусством лить пушки, иначе его не будут слушать. Из-за того, что маршал Мак-Магон. в тысяча восемьсот семидесятом году был разбит под Седаном, а генерал Шанзи<sup>[15]</sup> годом позже потерял свою армию в Мэне, – моего собрата Мориса Ренуара не признают в Оксфорде в тысяча восемьсот девяносто седьмому году. Вот вам медленные, косвенные, но несомненные последствия военных

поражений. И поистине верно, что от вооруженного шпагой нахала зависит судьба муз.

– Дорогой господин Бержере, – сказал командор Аспертини, – отвечу вам с откровенностью, которую может себе разрешить друг. Прежде всего будем справедливы: французская мысль распространена, как и в былые времена, по всему свету. Руководство по археологии вашего высокоученого соотечественника Мориса Ренуара действительно не в ходу в английских университетах, но зато ваши театральные пьесы ставятся на всех сценах мира, а романы Альфонса Доде и Эмиля Золя переведены на все языки; полотна ваших художников украшают галереи Старого и Нового света; работы ваших ученых всемирно известны. Если же ваша душа не вызывает больше отклика в душе других народов, если от вашего голоса уже не бьется сердце всего человечества, так это потому, что вы перестали быть апостолами справедливости и братства, вы уже не провозглашаете святых слов, которые несут утешение и бодрость. Франция перестала быть другом рода человеческого, согражданкой народов; она уже не разжимает горсть, не сеет семена свободы, которые некогда рассыпала по свету так щедро и таким величественным жестом, что долгое время всякая прекрасная человеческая мысль казалась мыслью французской; Франция перестала быть страной философов и революций, и в мансардах по соседству с Пантеоном и Люксембургским дворцом больше нет молодых мудрецов, пишущих по ночам на простом дощатом столе страницы, от которых приходят в волнение народы и бледнеют тираны. Итак, не жалуйтесь на то, что потеряли славу: вы стали осторожны и уже сами ее боитесь.

А главное, не говорите, что немилость навлекли на вас поражения. Скажите лучше, что ее навлекли ваши промахи. Для нации проигранное сражение все равно, что для крепкого человека царапина, полученная на дуэли. Подобная неудача может вызвать лишь временные экономические трудности и ослабление, от которого вполне можно оправиться. Чтобы помочь делу, достаточно иметь чуточку ума, ловкости и политического смысла. Первый, самый важный и, конечно, самый легкий прием – это извлечь для себя из поражения как можно больше воинской славы. В сущности слава побежденных равняется славе победителей, но она более трогательна. Чтобы поражением восхищались, достаточно прославить генерала и армию, потерпевших его, и рассказать в печати о ряде героических эпизодов, которые свидетельствовали бы о моральном превосходстве побежденных. Даже при самых поспешных отступлениях подобные эпизоды всегда найдутся. Итак, побежденные прежде всего должны разукрасить, принарядить, позлатить свое поражение и придать

ему необычайное величие и красоту. Судя по Титу Ливию, римляне именно так и делали и украшали пальмовыми ветвями и гирляндами свои мечи, сломанные при Требии, Тразимене и Каннах.<sup>[16]</sup> Они прославляли все, даже губительное бездействие Фабия,<sup>[17]</sup> так что двадцать два века спустя мудрость Кунктатора все еще вызывает восхищение, а он был просто старым дураком. Вот в этом-то и состоит искусство побежденных.

– Это искусство не позабыто, – сказал г-н Бержере. – В наши дни к нему прибегла Италия, после Новары,<sup>[18]</sup> после Лиссы,<sup>[19]</sup> после Адуи.<sup>[20]</sup>

– Когда итальянская армия капитулирует, – продолжал командор Аспертини, – мы поступаем совершенно правильно, утверждая, что эта капитуляция была почетной. Правительство, которое выставляет поражение в красивом виде, поступает соответственно желанию патриотов внутри страны и приобретает интерес в глазах иностранцев. Это уже значительные результаты. В тысяча восемьсот семидесятом году только от вас самих, от французов, зависело добиться того же. Если бы при известии о разгроме под Седаном сенат и палата депутатов, вместе с представителями всех сословий, торжественно и единодушно приветствовали императора Наполеона III и маршала Мак-Магона за то, что они не отчаялись в спасении отечества и дали бой, неужели же французский народ не извлек бы блестящей славы из неудачи своих войск и не выразил бы самым убедительным образом желания победить? Поверьте, дорогой господин Бержере, я вовсе не такой нахал, чтобы давать вашей стране уроки патриотизма. Я поставил бы сам себя в смешное положение. Я просто сообщаю вам некоторые замечания, которые после моей смерти будут найдены на полях моего экземпляра Тита Ливия.

– Это не первый пример, – заметил г-н Бержере, – когда комментарии к «Декадам»<sup>[21]</sup> ценнее самого текста. Но продолжайте.

Командор Аспертини улыбнулся и стал дальше развивать свою мысль.

– Страна действует мудро, когда полными пригоршнями бросает лилии на раны, нанесенные войной. Затем потихоньку, украдкой, молча она исследует причиненный урон. Если удар был жесток, если страна серьезно пострадала, она сейчас же вступает в переговоры. Чем скорее вступить в переговоры с победителем, тем выгоднее. Еще не освоившись со своей победой, противник радостно принимает предложения, которые должны привести его удачно начатое дело к счастливому концу. Он еще не успел ни возгордиться от постоянных успехов, ни обозлиться на слишком продолжительное сопротивление. Он не может требовать громадных возмещений за ущерб, пока еще сравнительно незначительный. Его

первоначальные претензии еще не так велики. Может быть, дешевой ценой не купишь мира, но если запоздаешь, то заплатишь дороже. Самое благоразумное вступить в переговоры тут же, пока не обнаружилась твоя слабость. Тогда можно добиться менее тяжелых условий, которые будут еще смягчены вмешательством нейтральных держав. Никто не оспаривает, что искать спасения в отчаянной борьбе и заключать мир только после победы – прекрасные правила, но они не годятся для нашего времени, когда промышленные и торговые нужды современной жизни, с одной стороны, и наличие громадных армий, которые надо одеть и прокормить, с другой, не дают возможности затягивать на неопределенный срок враждебные действия и, следовательно, не оставляют времени менее сильному поправить свои дела. Францию в тысяча восемьсот семидесятом году воодушевляли самые благородные чувства. Но, здраво рассуждая, ей следовало бы вступить в переговоры после первых же почетных для нее неудач. Тогдашнее правительство могло и должно было взять на себя такую задачу и добилось бы гораздо лучших условий, чем те, на которые можно было рассчитывать позднее. Здравый смысл требовал получить от правительства эту последнюю услугу, а затем уже от него отделаться. Но поступили как раз наоборот. Франция двадцать лет терпела это правительство, а тут вдруг пришла к необдуманному решению свергнуть его именно в тот момент, когда оно могло стать полезным, и заменила его другим, которое ни в чем не было согласно с первым и потому должно было сызнова начать войну, не имея для этого свежих сил. Тогда попыталось взять власть в свои руки третье правительство. Если бы оно утвердилось, войну начали бы в третий раз на том основании, что две первые попытки, весьма неудачные, в счет не идут. Вы скажете, что надо было спасать честь родины. Но вы собственной кровью спасли целых две чести: честь империи и честь республики; вы готовы были спасти еще и третью – честь Коммуны. А между тем, даже у самого гордого в мире народа может быть только одна честь. Такой избыток благородства довел вас до крайней слабости, которую, по счастью, вы уже преодолеваете...

– Словом, – сказал г-н Бержере, – если бы Италия была разбита при Вейсенбурге и Рейхсгофене,<sup>[22]</sup> то за свои поражения она, чего доброго, получила бы Бельгию. Мы же – народ героев, и вечно думаем, что нас предали. Так было постоянно. Кроме того, надо принять во внимание, что у нас демократия, а это строй, самый неподходящий для переговоров. Нельзя отрицать, что мы защищались долго и мужественно. Кроме того, говорят, что мы любезны, и я этому верю. В конце концов деяния человечества всегда были лишь мрачным шутовством, и историки, которые усматривают

некоторую закономерность в ходе событий, просто любители пышных слов. Боссюэ...

В то мгновение, когда г-н Бержере произносил это имя, дверь в кабинет открылась так порывисто, что ивовый манекен покачнулся и упал к ногам удивленного военного. В дверях стояла девушка, рыжая, косая, с низким лбом, коренастая и некрасивая, но пышущая молодостью и силой. На ее лоснящихся щеках и голых руках полыхал царственный пурпур. Она остановилась перед г-ном Бержере и, потрясая совком для угля, крикнула:

– Ухожу!

Это была юная Эфеми, которая поссорилась с г-жой Бержере и теперь требовала расчета. Она повторила:

– Ухожу домой!

Г-н Бержере сказал:

– Уходите, голубушка, только без крика!

Она повторила несколько раз:

– Ухожу! От хозяйки житья нет.

И прибавила более спокойно, опуская совок:

– И потом глаза мои не глядели бы, такое здесь творится.

Господин Бержере, не стараясь вникнуть в эти загадочные слова, заметил служанке, что он ее не удерживает и она может уходить.

– Уплатите мне, что причитается, – сказала она.

– Ступайте, – ответил г-н Бержере. – Разве вы не видите, что я занят и не могу рассчитать вас сейчас? Подождите меня где-нибудь в другом месте.

Но Эфеми прорычала, опять потрясая черным и тяжелым совком:

– Уплатите мне, что причитается! Жалованье отдайте, отдайте жалованье!

## II

В шесть часов вечера аббат Гитрель вышел в Париже из вагона, подозвал во дворе вокзала фиакр и под дождем, в густой мгле, усеянной огнями, поехал на улицу Буланже к дому номер пять. На этой узкой, идущей в гору, ухабистой улице, насквозь пропитанной запахом бочек, над лавками бочаров и торговцев пробками жил его старинный приятель, аббат Лежениль, духовник в женской общине Семи ран господних, великопостные проповеди которого пользовались большим успехом в одном из наиболее аристократических приходов Парижа. У него-то всегда останавливался аббат Гитрель, когда приезжал в Париж поторапливать свою медлительную фортуна. Деловито поскрипывая башмаками с пряжками, искаживал он за день много улиц, поднимался по ступенькам многих лестниц, обивал пороги самых различных домов. А вечером он ужинал с г-ном Леженилем. Старые товарищи по семинарии рассказывали друг другу забавные анекдоты, осведомлялись о ценах на мессы, на проповеди, перекидывались в картишки. В десять часов служанка Нанетта вкатывала в столовую железную кровать для г-на Гитреля, который при отъезде не забывал сунуть ей в руку новенькую монету в двадцать су.

И на сей раз, как и всегда, г-н Лежениль, человек дородный и рослый, опустил свою большую руку на плечо Гитреля, даже присевшего под ее тяжестью, и поздоровался с ним громким, гудящим, как орган, голосом. И сейчас же, по своему давнишнему обыкновению, шутливо спросил:

– Ну-ка, старый скряга, выкладывай обещанные двенадцать дюжин месс по экю за штуку! Или ты и впредь собираешься один загребать все золото, которое так и льется к тебе ручьями от твоих провинциальных богомолок?

Он говорил это весело, потому что был беден и знал, что Гитрель так же беден, как он.

Гитрель, понимавший шутки, но не шутивший сам за недостатком жизнерадостности, ответил, что приехал в Париж по разным поручениям, а главное – для покупки книг. Он попросил приятеля приютить его на денек-другой, самое большее дня на три.

– Хоть раз в жизни скажи правду! – отозвался г-н Лежениль. – О митре хлопчешь, старая лисица! Завтра утром со смиренным видом предстанешь перед нунцием. Гитрель, быть тебе епископом!

И духовник женского монастыря Семи ран господних, проповедник

церкви св. Луизы с шутливой почтительностью, к которой, быть может, примешивалось. бессознательное уважение, склонился перед будущим епископом. Потом лицо его вновь приняло суровое выражение, сквозь которое проглядывала душа нового Оливье Майяра.<sup>[23]</sup>

– Ну, идем! Хочешь закусить?

Господин Гитрель был скрытен. Он поджал губы, недовольный, что его разгадали. Действительно, он приехал с целью заручиться поддержкой влиятельных лиц. Но у него не было ни малейшей охоты объяснять свои хитроумные расчеты простодушному другу, простота которого была не только добродетелью, но и политикой.

Он пробормотал:

– Не подумай, что... Не приписывай мне таких...

Господин Лежениль пожал плечами:

– Старый обманщик!

И, войдя с гостем в спальню, он подсел к керосиновой лампе и принялся за прерванную работу – штопку штанов. Г-н Лежениль, проповедник, весьма уважаемый в парижской и версальской епархии, сам занимался починкой, чтобы избавить от лишнего труда свою старую служанку и потому что привык к игле за первые тяжелые годы священнослужительства. И вот этот великан с богатырскими легкими, громивший с амвона неверующих, теперь сидел на стуле с соломенным сидением и шил, держа иглу в больших красных пальцах. Он поднял голову от работы и, строго поглядев на Гитреля своими добрыми большими глазами, сказал:

– Перекинемся вечерком в картишки, старый плут!

Но Гитрель буркнул смущенно и все же решительно, что вечером ему надо уйти. У него были свои планы. Он торопился с обедом и поел наспех, к неудовольствию хозяина, большого любителя покушать и поговорить. Он встал из-за стола, не дождавшись сладкого, и прошел в соседнюю комнату, где заперся, достал из чемодана светское платье и переоделся.

Смешной, словно ряженный, в длинном, черном, мрачном сюртуке предстал он пред очи своего друга. На голове у него красовался порыжелый цилиндр необычайной вышины. Он проглотил кофе, пробормотал наскоро послеобеденную молитву и вышел.

Аббат Лежениль крикнул ему вслед с площадки лестницы:

– Не звони, когда вернешься, а то разбудишь Нанетту. Ключ будет под половиком. Постой, Гитрель, еще одно слово: я знаю, куда ты собрался. На урок декламации, старый Квинтилиан!<sup>[24]</sup>



Аббат Гитрель пошел вниз по набережной, окутанной сырою мглой, перешел на ту сторону по мосту Святых отцов, пересек площадь Карусели, смешавшись с толпой прохожих, которые мимоходом бросали равнодушный взгляд на его цилиндр необычайных размеров, и остановился под тосканским перистилем Французской комедии. Он предусмотрительно взглянул на афишу, удостоверился, что спектакль не отменен и что идет «Андромаха» и «Мнимый больной». Затем у второго окошечка взял билет в места за креслами.

Усевшись позади еще пустых кресел, на узкой скамейке, где почти все места были уже заняты, он раскрыл старую газету, во не для чтения, а чтобы удобнее было слушать то, что говорилось вокруг. У него был тонкий слух, и он смотрел ушами, подобно тому как г-н Вормс-Клавлен слушал ртом. Его соседями были приказчики и мастеровые, получившие контрамарки но знакомству с театральным машинистом или костюмершей, – народ скромный, простой, жадный до зрелищ, довольный собой, занятый всякими спорами на пари, велосипедами, – смиренная молодежь, уже несколько вымуштрованная, демократическая и бессознательно республиканская не потрясающая устоев даже в своих шутках по адресу президента республики. Аббат Гитрель ловил на лету слова, раздававшиеся то тут, то там и объяснявшие ему состояние умов, и думал, что аббат Лантень в своем уединении строит напрасные иллюзии, мечтая вернуть народ к теократической монархии. И он посмеивался, загордившись газетой.

«Ну и покладистый же народ эти парижане, – думал он. – В провинции о них неверно судят. Дай-то бог, чтоб республиканцы и свободомыслящие туркуэнской епархии оказались им под стать! Но где там, у французов-северян ум терпкий, как хмель в их долинах. Окажусь я у себя в епархии между ярыми социалистами и ревностными католиками».

Он знал о трудностях, ждавших его на кафедре блаженного Луна, и безбоязненно призывал их на свою голову, так тяжело при этом вздыхая, что сосед оглянулся, опасаясь, не заболел ли он; а аббат Гитрель, не слыша гула суетных разговоров, хлопанья дверей и беготни билетерш, думал свою епископскую думу.

Но когда после трех звонков медленно поднялся занавес, все внимание его поглотил спектакль. Его интересовали декламация и жесты актеров. Их произношение, походку, мимику он изучал с корыстным усердием старого проповедника, старающегося овладеть секретом благородных жестов и патетических интонаций. При длинных тирадах он удваивал внимание, жалея только об одном, что играют не Корнеля, богатого монологами,

щедрого на ораторские приемы и сильнее подчеркивающего различные места речи.

Когда актер, игравший Ореста, произнес классическое вступление: «Пока все эллины...», преподаватель духовного красноречия приготовился запечатлеть в памяти все его позы и модуляции голоса. Аббат Лежениль хорошо изучил своего старого друга: он знал, что хитрый преподаватель духовного красноречия ходил в театр брать уроки декламации.

Актрисам г-н Гитрель уделял меньше внимания. Он презирал женщин. Это, конечно, не значит, что он был всегда целомудрен в своих помыслах. И в духовном чине знавал он волнения плоти. Каким образом обходил, истолковывал или преступал он седьмую заповедь, господь его ведает. И не стоит доискиваться, какого рода создания, кроме господа бога, могли это ведать. «*Si iniquitates observaveris, Domine, Domine quis sustinebit?*».<sup>[25]</sup> Но он был лицом духовным и питал отвращение к дочерям Евы. Он ненавидел запах женских волос. На восторги соседа по скамейке, приказчика, который расхваливал руки трагической актрисы, славившиеся своей красотой, он ответил гримасой непритворного презрения.

Однако он с интересом досмотрел трагедию до конца и решил, что в проповедях о муках нечестивцев или о страшном конце грешника недурно будет использовать неистовство Ореста, искусно разыгранное актером. И во время антракта он мысленно исправлял, стараясь припомнить слышанное со сцены, свой несколько провинциальный говор, портивший его речь. «Голос туркуэнского епископа, – думал он, – не должен отзываться кислятиной нашего дешевого доморощенного вина».

Пьеса Мольера, которой заканчивался спектакль, чрезвычайно его развеселила. Сам он не умел подмечать смешные стороны в человеке и потому бывал доволен, когда ему их показывали. В особенности понравилось ему веселое поругание плоти, и он от всего сердца хохотал при неприличных пассажах.

В середине последнего акта он вынул из кармана булочку и принялся за нее, отламывая маленькие кусочки и прикрывая рот рукою; он спешил доесть свой скудный ужин до полуночи, так как наутро ему предстояло служить литургию в церкви женского монастыря Семи ран господних.

После спектакля он засеменил вдоль пустынных набережных к своему пристанищу. В тишине река с глухим ропотом катила свои волны. Г-н Гитрель шел мелкими шажками; в чуть красноватом тумане разрастались очертания предметов, и цилиндр его в темноте казался необычайно высоким. Когда он пробирался вдоль отсырелых стен старой богадельни, навстречу ему заковыляла простоволосая девица, некрасивая, уже не

молодая, огромная, с выпиравшей из-под белой блузки грудью; она пристала к нему и, схватив за полу сюртука, предложила свои услуги. Но прежде чем он успел сообразить, как от нее отделаться, она вдруг шарахнулась в сторону с криком:

– Поп! Ну, не. миновать беды!

И, бросившись к лесам, которыми был обнесен ремонтируемый дом, заскулила:

– Что-то теперь со мной стрясется! Чорт бы его...

Господин Гитрель знал о суеверии, распространенном среди простых женщин, которые считают плохой приметой встречу со священником и спешат дотронуться до дерева, дабы предотвратить несчастье; но он был поражен, что девица признала в нем лицо духовного звания, несмотря на светское платье.

«Вот она, кара расстриг, – подумал он. – Ничем из них не вытравить священника. Tu es sacerdos in aeternum,<sup>[26]</sup> Гитрель».

### III

Подгоняемый северным ветром, кружившим по твердой белой земле сухие листья, г-н Бержере прошел мимо обнаженных вязов на городском валу и взобрался на холм Дюрок. Теперь он шагал по неровному шоссе. Оставив по правую руку кузницу и молочную с намалеванными на фасаде двумя красными коровами, а по левую – длинные невысокие заборы огородов, он шел навстречу унылому дымному небу, замыкавшему горизонт лиловою стеной. Приготовив утром десятую и последнюю лекцию о восьмой книге «Энеиды», он машинально перебирал в уме особенности стихосложения и грамматики, обратившие на себя его внимание, и, приноровляя ритм своих мыслей к ритму шагов, через равные промежутки размеренно повторял; «Patrio vocat agmina sistro...»<sup>[27]</sup> Однако время от времени его пытливый и разносторонний ум побуждал его к весьма вольным критическим суждениям. Военную риторику восьмой книги он находил скучной, ему казалось смешным, что Эней получил от Венеры щит с рельефным изображением сцен из римской истории, вплоть до битвы при Аксиуме<sup>[28]</sup> и бегства Клеопатры. «Patrio vocat agmina sistro...» Дойдя до Пастушьей тропы, шедшей по верху холма Дюрок, он очутился перед красно-бурым кабачком папаши Майяра, заколоченным, опустелым, покрытым плесенью, и подумал, что римляне, изучению которых он посвятил свою жизнь, были невыносимо напыщенны и посредственны. С годами, по мере того как развивался его вкус, он стал ценить лишь Катутла и Петрония... Но, что поделаешь, надо щипать траву на той лужайке, где ты привязан... «Patrio vocat agmina sistro». Ну, зачем Вергилий и Проперций<sup>[29]</sup> пытаются нас уверить, – думал он, – будто систр, под резкие звуки которого исполнялись неистовые религиозные пляски жрецов, был в то же время музыкальным инструментом египетских мореходцев и солдат? Просто в голове не укладывается».

Спускаясь Пастушьей тропой по противоположному склону холма Дюрок, он вдруг ощутил мягкость воздуха. Теперь дорога шла вниз между двумя известковыми откосами, за которые крепко уцепились корнями низкорослые дубки. Защищенный от ветра, слегка пригретый скудным декабрьским солнцем, тускло светившим с неба, г-н Бержере пробормотал уже спокойнее: «Patrio vocat agmina sistro». Конечно, Клеопатра бежала из Аксиума в Египет, но она пробивалась сквозь флот Октавия и Агриппы, пытавшийся отрезать ей отступление».

И обласканный мягкостью воздуха и света, г-н Бержере сел у края дороги на камень, когда-то вырытый из горы и теперь медленно обраставший черным мхом. Он глядел сквозь переплет тонких веток в лиловатое небо, подернутое дымом, и, предаваясь в одиночестве своим мыслям, наслаждался тихой грустью.

«Антоний и Клеопатра, – думал он, – атаквали окружившие их либурны<sup>[30]</sup> Агриппы<sup>[31]</sup> с единственной целью прорваться. Это и удалось сделать Клеопатре, которая вывела шестьдесят своих судов». И г-н Бержере, сидя на краю вырытой в карьере дороги, предавался невинному удовольствию вершить судьбы мира в славных водах Акарнании. Но в трех шагах от себя он вдруг заметил старика, который сидел по ту сторону тропинки, на куче сухих листьев. Во всем его облике было что-то первобытное, он сливался с окружающей природой. Лицо, борода и лохмотья были одного оттенка с камнем и листьями. Он не спеша строгал кусок дерева старым лезвием, сточившимся от долголетнего употребления.

– Здравствуйте, барин, – сказал старик. – Солнышко пригревает. А что хорошо, доложу я вам, так это то, что дождя не будет.

Господин Бержере узнал Подорожника, бродягу, которого судебный следователь г-н Рокенкур приплел к делу о «доме королевы Маргариты» и понапрасну продержал полгода в тюрьме, то ли в душе надеясь получить против него неожиданные улики, то ли рассчитывая, что арест будет выглядеть более оправданным, если протянется дольше, то ли просто по злобе на человека, оказавшегося невинным наперекор домыслам правосудия. Г-н Бержере чувствовал симпатию к обездоленным и потому ответил приветливыми словами на приветливые слова Подорожника.

– Здравствуйте, голубчик, – сказал он. – Вижу, что вы знаете хорошие места. Это склон теплый и защищенный от ветра.

Подорожник, помолчав минутку, ответил:

– Я знаю места получше. Только до них далеко. Ходить бояться нечего. Ноги-то крепкие, а вот башмаки некрепкие. Да и не к чему мне крепкие башмаки, не привык я к ним. Подадут мне крепкие башмаки, а я их распорю.

И, подняв ногу над сухими листьями, он показал обмотанный тряпкой большой палец, торчавший из дыры.

Он умолк и снова принялся строгать твердый кусок дерева.

Господин Бержере вскоре вернулся к своим мыслям «Pallentem morte futura»{«Бледного перед лицом смерти грядущей» (лат.)}. Либурнам Агриппы не удалось загородить проход пурпурно-парусному флоту Антония. На этот раз голубка ушла от когтей ястреба».

Но Подорожник опять заговорил:

– Они отобрали у меня ножик.

– Кто это «они»?

Бродяга, подняв руку, махнул ею в сторону города и ничего больше не прибавил. Однако его неторопливая мысль продолжала работать, и спустя некоторое время он сказал:

– И не отдали.

И сосредоточенно замолчал, не в силах выразить словами мысли, бродившие в его темном сознании. Ножик да трубка были всем его богатством. Ножом он резал черствый хлеб и корки сала, которые ему подавали у дверей ферм, потому что не мог их угрызть своими беззубыми деснами; ножом он крошил остатки сигар, чтобы набить себе трубку; ножом скоблил гнилые фрукты и извлекал из помоек пригодные еще объедки. Ножом строгал палки для ходьбы и срезал ветки, чтобы было на чем переночевать в лесу. Ножом выдалбливал он из дубовой коры лодочки для мальчиков, а из сердцевины делал куколок для девочек. Нож служил ему во всех случаях жизни – и в самых насущных и в более сложных; он никогда не мог наесться досыта, а потому бывал хитер на выдумки и кормился ножом, мастера из камыша игрушечные фонтаны, которые нравились господам в городе.

У этого человека, не желавшего работать, были золотые руки. По выходе из тюрьмы он не мог добиться, чтоб ему вернули отобранный у него нож. И он пошел бродить по свету без оружия, без инструмента, обездоленный, беспомощный, как ребенок. Он поплакал над собой. Скупые слезинки жгли налитые кровью глаза. Но потом он приободрился и, выйдя за город, нашел на меже старое лезвие. Теперь он искусно прилаживал к нему крепкую рукоятку из буковой ветки, срезанной в Пастушьем лесу.

Мысль о ноже навела его на мысль о трубке. Он сказал:

– А трубку не отобрали.

И вытащил из шерстяного мешочка, который носил на груди, что-то вроде наперстка, черного и замусоленного, – головку трубки без намека на мундштук.

– Ах, голубчик, – сказал г-н Бержере, – не похожи вы на важного преступника. Ну как это вас опять угораздило попасть в тюрьму?

Подорожник не привык к разговору. Он не умел поддерживать беседу. И хотя ум у него был, пожалуй, даже философского склада, смысл обращенных к нему слов доходил до него но сразу. Ему доставало практики. Сначала он ничего не ответил г-ну Бержере, который принялся чертить концом палки по белой дорожной пыли. Наконец Подорожник

сказал:

– Недобрых дел за мной не водится. Выходит, мне попадает за что-то другое.

И разговор завязался без особых перерывов.

– Вы хотите сказать, что вас сажают в тюрьму без вины?

– Я знаю, за кем недобрые дела водятся. Но сказать не скажу, а то мне не поздоровится.

– Вы водите компанию с бродягами и преступниками?

– Вы все допытываетесь. Судью Рокенкура знаете?

– Немного знаю. Он очень строг, так ведь?

– Складно говорит судья Рокенкур. Не слышал я, чтобы кто-нибудь еще так складно и быстро говорил. Понимать не успеваешь. Никак слова не вставишь. Нет человека, чтобы говорил хоть наполовину так складно, как он.

– Он продержал вас несколько месяцев взаперти, а вы на него не сердитесь. Какое смиренное проявление великодушия и милосердия!

Подорожник принялся стrogать рукоятку для ножа. По мере того как подвигалась работа, он веселел и обретал спокойствие духа. Вдруг он спросил:

– Человека по имени Корбон знаете?

– Какой такой Корбон?

Объяснить это было трудно. Подорожник сделал неопределенный жест, охватив четверть горизонта. Однако мысли его были заняты тем, кого он назвал, и он повторил:

– Корбон.

– Подорожник, – сказал г-н Бержере, – говорят, будто вы совсем особый бродяга и, как бы вам трудно ни жилось, вы никогда не воруете. А ведь вы общаетесь с недобрыми людьми. Знаетесь с убийцами.

Подорожник ответил:

– У одних одно на уме, у других – другое. Приди мне на ум что недоброе, я выкопал бы яму под деревом на холме Дюрок, зарыл бы свой нож и землю сверху утоптал бы. У кого недоброе на уме, того сам нож толкает на такое дело. А еще гордость толкает. А я смолоду гордость потерял, потому что у нас в деревне мужчины насмехались надо мною и девушки и ребяташки тоже.

– И никогда у вас не было злых, недобрых мыслей?

– Бывали, когда повстречаешь женщину одну на дороге. Но это прошло.

– И больше не возвращается?

– Бывает.

– Подорожник, вы любите свободу, и вы свободны. Живете, не работая. Вы – счастливец.

– Есть на свете счастливцы, да только не я.

– Где они, эти счастливцы?

– На фермах.

Господин Бержере поднялся, сунул бродяге в руку монету в десять су и сказал:

– По-вашему, счастье живет под крышей, у печи, на перине. А я-то считал вас мудрецом.



## IV

По случаю Нового года г-н Бержере с утра облачился во фрак, уже утративший лоск и словно осыпанный пеплом пасмурного зимнего утра. Академический значок на лиловой ленточке, продетой в петлицу, своим никчемным блеском только подчеркивал, что г-н Бержере не кавалер Почетного легиона. Во фраке он чувствовал себя особенно бедным и тщедушным. Белый галстук казался ему уже совсем жалким, и правда, он был не очень свеж. Г-н Бержере окончательно расстроился, когда, понапрасну измяв крахмальную манишку, убедился в невозможности укрепить перламутровые запонки в разносившихся от долгого употребления петлях. В душе у него шевельнулось сожаление, что он не светский человек. И, сев на стул, он принялся рассуждать.

«Да и существует ли на самом деле светское общество и светские люди? По-моему, этот так называемый свет похож на золотисто-серебряное облако в небесной лазури. Когдаходишь в него, ощущаешь только туман. И правда, социальные группировки весьма неопределенны. Люди соединяются в силу одинаковых предрассудков и вкусов. Но вкусы часто идут вразрез с предрассудками, а случай все спутывает. Конечно, прочное богатство и обусловленный им досуг создают известный образ жизни и особые привычки. В сущности это и есть то общее, что объединяет светских людей. Их объединяет привычка к вежливости, гигиене и спорту, и это все. Существуют светские обычаи. Они чисто внешние и именно поэтому бросаются в глаза. Существуют светские манеры, приличия, Не существует светских душевных свойств. То, что нас действительно характеризует, – это наши страсти, мысли, чувства; У нас есть совесть, а свет тут ни при чем».

Однако неполадки с галстуком и рубашкой продолжали его беспокоить. Он пошел в гостиную взглянуть на себя в зеркало. Зеркало заслоняла громадная корзина вереска, перевитая красными атласными лентами, и потому г-ну Бержере его отражение показалось каким-то далеким. Эта ивовая корзина, в виде колесницы с золочеными колесами, стояла на пианино, между двумя пакетами с засахаренными каштанами. К золоченому дышлу была приколата визитная карточка г-на Ру. Корзина была подношением г-же Бержере.

Преподаватель филологического факультета не отстранил перевитого лентами вереска. Он удовольствовался тем, что доброжелательно поглядел

на свой левый глаз, который был виден сквозь цветы. Г-н Бержере полагал, что ни на этом, ни на том свете его никто не любит, и чувствовал к себе жалость и некоторую симпатию. Он относился к себе ласково, как и к прочим обездоленным. Итак, он решил не огорчать себя долее тщательным разглядыванием сорочки и галстука и подумал:

«Ты комментируешь щит Энея, а галстук у тебя измят. И то и другое смешно. Ты не светский человек. Так умей же по крайней мере жить внутренней жизнью и возделывай в себе самом богатую ниву».

В этот новогодний день у него были причины жаловаться на судьбу: ему предстояло идти с визитом к ректору и декану, людям пошлым и вздорным. Ректор, г-н Летерье, его не выносил. Это была какая-то органическая антипатия, возраставшая с той же правильностью, с какой растут растения, и каждый год приносившая плоды. Г-н Летерье, профессор философии, автор учебника, в котором были разобраны все философские системы, твердо верил в непогрешимость общепринятых взглядов. У него не возникало никаких сомнений относительно вопросов красоты, истины и добра, коих свойства он определил в одной из глав своей работы (страницы 216–262). Поэтому он почитал г-на Бержере за человека опасного и извращенного. Г-н Бержере понимал, что антипатия г-на Летерье вполне искренняя, и не роптал. Иногда он даже снисходительно усмехался. Зато он расстраивался всякий раз, как встречался с деканом, г-ном Торке, у которого не было никаких мыслей и который, при всей своей учености, остался настоящим неучем. Это был толстый человек с низким лбом и плоским черепом, который целый день пересчитывал куски сахара у себя в буфете в груши в своем саду, а когда у него сидели в гостях сослуживцы по факультету, чинил звонок у входной двери, но в умении вредить людям он проявлял столько активности и изобретательности, что г-н Бержере просто диву давался. Вот о чем думал преподаватель латыни, надевая пальто и отправляясь с поздравлениями к г-ну Торке.

Тем не менее, выйдя из дому, он немного повеселел. На улице он обретал лучшее из всех благ – философскую свободу духа. На углу улицы Тентельри, против «дома двух сатиров», он остановился и ласков о посмотрел на деревцо акации в саду мясника Лафоли, поднимавшее над забором свою оголенную верхушку.

«Зимой в деревьях есть какая-то задушевная прелесть, которой нет в них, когда они одеты пышной листвой и цветами, – подумал он. – Зимой видишь всю тонкость их строения. Какое очарование в изящном силуэте, напоминающем разросшийся куст черных кораллов; это – не мертвый скелет, это – множество хорошеньких члеников, в которых дремлет жизнь.

Будь я пейзажистом...»

Тут его размышления были прерваны дородным человеком, который окликнул его по имени и, не останавливаясь, взял под руку. Это был г-н Компаньон, самый популярный профессор, любимец слушателей, читавший курс математики в большой аудитории.

– С Новым годом, дорогой Бержере. Держу пари, что вы к своему декану. Нам по пути.

– Отлично, – ответил г-н Бержере. – Таким образом я скрашу свой путь к тягостной цели. Ибо должен сознаться, что меня несколько не радует визит к господину Торке.

При этом признании, ничем с его стороны не вызванном, г-н Компаньон, то ли случайно, то ли инстинктивно, вытащил свою руку, которую просунул было под руку коллеги.

– Знаю, знаю! У вас были неприятности с деканом. А с ним нетрудно ладить.

– Я вовсе не имел в виду неприязни, которой, говорят, удостаивает меня наш декан, – заметил г-н Бержере. – Но при одной мысли о разговоре с человеком, лишенным всякого воображения, меня мороз по коже подирает. По-настоящему нас огорчает не мысль о несправедливости и ненависти и не зрелище людских страданий. Напротив, мы охотно смеемся над несчастиями ближних, только бы нам весело о них рассказывали. Нагоняют тоску и приводят в отчаяние люди с безрадостной душой, в которой ничто не отражается, в которой вселенная не оставляет никакого следа. Общение с господином Торке – одна из самых больших неприятностей моей жизни.

– Что там ни говори, – сказал г-н Компаньон, – а наш факультет – один из самых блестящих во Франции по подбору профессоров и по оборудованию помещений. Только лаборатории оставляют еще желать многого. Но будем надеяться, что дружными усилиями преданного делу ректора и такого влиятельного сенатора, как господин Лапра-Теле, этот досадный недосмотр будет, наконец, исправлен.

– Было бы также желательно, – сказал г-н Бержере, – чтобы курс латыни читался не в темном и сыром подвале.

Проходя по площади св. Экзюпера, г-н Компаньон указал на дом Денизо:

– Что-то не слышно больше о провидице, общавшейся со святой Радегундой и всем райским сонмом. Вы бывали у нее, Бержере? Меня водил туда, в самый расцвет ее славы, Лакарель, правитель канцелярии префекта. Она сидела в кресле, закрыв глаза, а человек десять почитателей

задавали вопросы. Спрашивали, в добром ли здоровье папа, каковы будут последствия франко-русского соглашения, пройдет ли подоходный налог и скоро ли будет найдено средство против чахотки. На все вопросы она отвечала в поэтическом стиле и без особого затруднения. Когда черед дошел до меня, я задал самый простой вопрос: «Каков логарифм девяти?» Ну как вы думаете, Бержере, она ответила: 0,954?

– Нет, я этого не думаю, – сказал г-н Бержере.

– Она ничего не ответила, ровно ничего. Как воды в рот набрала. Я сказал: «Как же это, святая Радегунда не знает логарифма девяти? Да виданное ли это дело!» Там были полковники в отставке, кюре, пожилые дамы и русские врачи. Они, по-видимому, были смущены, а Лакарель повесил нос на квинту. Я удрал, сопровождаемый общим неодобрением.

В то время как г-н Компаньон с г-ном Бержере, беседуя таким образом, переходили через площадь, им повстречался г-н Ру, который щедро рассыпал по всему городу свои визитные карточки. У него было очень большое знакомство.

– Вот мой лучший ученик, – сказал г-н Бержере.

– Он выглядит молодцом, – заметил г-н Компаньон, уважавший силу. – На кой же чорт ему латынь?

Задетый за живое, г-н Бержере спросил профессора математики, не полагает ли он, что изучать классические языки – удел людей слабых, немощных, хилых и уродливых.

Но г-н Ру уже поздравлял обоих профессоров, обнажая в улыбке свои зубы молодого волка. Он был доволен. Его счастливый гений, благодаря которому он постиг тайну военного дела, принес ему новую удачу. Сегодня утром г-н Ру получил двухнедельный отпуск по случаю легкого, не болезненного ушиба колена.

– Везет человеку! – воскликнул г-н Бержере. – Надул людей и даже не соврал.

Потом, обращаясь к г-ну Компаньону, прибавил:

– Мой ученик, господин Ру, подает большие надежды по части латинского стихосложения. Но по странному противоречию судьбы этот молодой латинист, изучая строгие стихотворные размеры Горация и Катулла, сам сочиняет французские стихи, которые никак не проскандируешь, и, должен сознаться, я не могу уловить их неопределенный ритм. Словом, господин Ру пишет свободным стихом.

– Да? – вежливо произнес г-н Компаньон.

Господин Бержере, человек любознательный и охотник до всяких новшествах, попросил г-на Ру прочесть его последнюю, еще не

опубликованную поэму «Превращение нимфы».

– Послушаем, – сказал г-н Компаньон. – Я пойду по левую руку от вас, господин Ру, я на это ухо лучше слышу.

И г-н Ру начал читать медленно, протяжно и нараспев «Превращение нимфы». Он читал стихи, время от времени прерываемые грохотом ломовых телег:

Белоснежная,  
Крутобедрая нимфа, нежная,  
Вдоль округлых плывет берегов.  
Серебристые ивы речных островов,  
Словно поясом Евы, ее одевают;  
И вдруг побледнев,  
Она исчезает.

Потом он показал иную картину:

На откосе деревня,  
Харчевня  
С запахом жареной рыбы.

Нимфа убегает в тревоге и смущении. Она приближается к городу; и тут происходит превращение:

И вот уже бедра ее одевают тяжелые камни,  
Щетинится грудь волосами – она мне  
Кажется грузчиком, потным и черным,  
Изнуренным в труде упорном.  
Взглянешь назад —  
Там угольный склад.

И поэт воспел реку, текущую уже в городе:

Отныне в плену исторических дат,  
Достойная песен, легенд и архивом хранимых рассказов,  
В сиянии славы,  
Заимствуя строгость и мрачный покой

От серых гранитов,  
Воды несет под сенью старинных церквей,  
Там, где реют еще Адальберты и Евды,<sup>[32]</sup>  
Где епископ в поблекшей парче  
Не дает отпеванья погибшим безвестным телам,  
Безвестным,  
Что уже не тела, а пустые мешки, —  
Вдоль реки,  
Вдоль островов уплывают они, словно баржи  
С кирпичной трубой вместо мачт,  
За крестом я могилой.  
Помедли немного у этих старинных перил:  
Немало найдешь ты красивых легенд и рассказов,  
Книгу волшебную с красным обрезом: дуб на нее  
Роняет дождем свои листья...  
Истлевший, быть может, отыщешь ты там манускрипт —  
Ведь с тобой говорят полустертые руны,  
Знаешь ты силу письмен на старинных клинках.<sup>[33]</sup>

– Очень хорошо, – сказал г-н Компаньон, который не то что не любил литературы, но, без привычки к ней, едва ли отличил бы стихи Расина от стихов Малларме.<sup>[34]</sup>

А г-н Бержере подумал:

«Кто знает, может это и в самом деле хорошее произведение?»

И из страха оскорбить непонятную ему красоту он молча пожал поэту руку.

Выйдя от декана, г-н Бержере повстречался с г-жой де Громанс, которая возвращалась после мессы. Он обрадовался, ибо почитал за удовольствие для всякого порядочного человека встречу с красивой женщиной. Г-жа де Громанс казалась ему привлекательней всех женщин. Он был ей благодарен за умение одеваться просто и со вкусом, которым во всем городе отличалась она одна, был благодарен за ее походку, которая подчеркивала стройность ее тонкого стана и гибкость бедер, – в ее образе для него воплощалась действительность, недоступная бедному и скромному латинисту, но могущая послужить ему хотя бы иллюстрацией для той или иной строчки Горация, Овидия или Марциала.<sup>[35]</sup> Он был ей признателен за ее приятный облик и за тот аромат любви, который исходил от нее. В душе он благодарил ее, как за милость, за ее легконравное сердце, хотя сам лично ни на что не надеялся. Он не был принят в аристократическом кругу, не бывал у нее и только по чистой случайности на празднестве после торжественной кавалькады в честь Жанны д'Арк был ей представлен на трибуне г-ном де Термондром. Впрочем, он и не желал более близкого знакомства, ибо был мудрецом и обладал чувством гармонии. Ему было достаточно при случае мельком взглянуть на ее красивое лицо и при виде ее припомнить те рассказы, какие ходили о ней в лавке Пайо. Ей он был обязан некоторой долей радости, за что и чувствовал какую-то постоянную благодарность.

Сегодня, новогодним утром он увидел ее в тот момент, когда она выходила из храма св. Экзюпера, приподняв одной рукой юбку, так что обрисовалась мягкая линия округлого колена, другой держа большой молитвенник в красном сафьяновом переплете, и он мысленно вознес к ней благодарственную молитву за то, что она – изысканная услада и очаровательная притча всего города. И увидя ее, он откровенно выразил эту мысль в своей улыбке.

Госпожа де Громанс понимала славу женщины не совсем так, как г-н Бержере. Она ставила ее в зависимость от всяких социальных интересов и соблюдала приличия, ибо принадлежала к высшему обществу. Так как ей было известно, что о ней думали в городе, то она держала себя холодно с людьми, которым не хотела понравиться. Г-н Бержере принадлежал к их числу. Его улыбку она нашла дерзкой и ответила на нее высокомерным взглядом, от которого он покраснел. И он пошел своей дорогой, думая в

сердечном сокрушении:

«Вот так злючка! Но и я нахал. Теперь я это сознаю. Я слишком поздно понял дерзость своей улыбки, означавшей: «Вы – общая услада!» Она восхитительное создание, но не философ свободный от обычных предрассудков. Она не могла меня понять; она не могла знать, что я почитаю ее красоту выше всех добродетелей в мире, а то, как она ею пользуется, признаю жреческим служением. Я был бестактен. Мне стыдно за себя. Как и всякий порядочный человек, я не раз преступал кое-какие людские законы и не раскаиваюсь. Но в моей жизни были такие поступки, которыми я нарушал нечто едва уловимое, тончайшее, называемое приличием, и до сих пор испытываю жгучую досаду и даже угрызения совести. Сейчас я готов сквозь землю провалиться от стыда. Отныне я буду избегать приятных встреч с этой дамой, наделенной гибким станом, *erisum doeta movere latus*.<sup>[36]</sup> Плохо начался для меня год!»

– Счастливого года! – буркнул кто-то из-под соломенной шляпы себе в бороду.

Это был г-н Мазюр, департаментский архивариус. С тех пор как министр отказал ему в академических отличиях, так как для получения их не было оснований, а городское общество всех кругов перестало отдавать визиты г-же Мазюр по той скрытой причине, что она была кухаркой и любовницей двух архивариусов, ведавших ранее департаментскими архивами, г-н Мазюр почувствовал ненависть к правительству, отвращение к свету и впал в мрачную мизантропию.



Чтобы сильнее выразить свое презрение к роду человеческому, он в этот день, когда все ходили с визитами по знакомым и по начальству, надел линялую синюю шерстяную фуфайку, которая торчала из-под пальто с



разорванными петлями, нахлобучил продавленную соломенную шляпу, которую Маргарита, его подруга жизни, вешала на страх воробьям в саду на вишневое дерево. Поэтому он с состраданием посмотрел на белый галстук г-на Бержере.

– Вы сейчас поклонились, – сказал он, – величайшей мерзавке.

Столь мало изящный и отнюдь не философский способ выражения причинил подлинное страдание г-ну Бержере. Но он многое прощал мизантропам и постарался помягче указать г-ну Мазюру на неделикатность таких речей:

– Дорогой господин Мазюр, зная вашу глубокую ученость, я ожидал от вас более справедливого мнения о даме, которая никому не делает зла, а скорее наоборот.

Господин Мазюр сухо ответил, что не любит распутниц. В его устах это не было выражением искренних чувств. По правде говоря, г-н Мазюр не отличался нравственными устоями. Но он упорно продолжал дуться на весь мир.

– Да, – со вздохом сказал г-н Бержере, – я признаю ошибку госпожи де Громанс. Она опоздала родиться на полтора года. В обществе восемнадцатого века человек просвещенный не осудил бы ее.

Господин Мазюр почувствовал себя польщенным и смягчился. Он не был ярым пуританином. Но он уважал гражданский брак, которому законодательство революции придало новое значение. Отсюда еще не следовало, что он отрицал права сердца и чувств. Он признавал наряду с уважаемыми семьянинками и женщин легкого поведения.

– Кстати, как поживает госпожа Бержере? – спросил он.

На площади св. Экзюпера дул северный ветер, и г-н Бержере видел, как покраснел под опущенными полями соломенной шляпы нос г-на Мазюра. У него самого уже мерзли ноги, в чтобы хоть немножко разогреть кровь, он стал думать о г-же де Громанс.

Книжная лавка Пайо была заперта. Оба ученые мужа почувствовали себя бесприютными и взглянули друг на друга с грустным сочувствием.

И добросердечный г-н Бержере подумал:

«Когда я лишусь этого спутника с куцыми и грубыми мыслями, меня опять охватит одиночество неприязненного города. Подумать страшно!»

Ноги его словно приросли к острым камням площади, ветер щипал уши.

– Я провожу вас до дому, – сказал архивариус.

И они пошли вместе, рядышком, время от времени обмениваясь поклонами со встречными, разодетыми по-праздничному, с коробками

конфет и паяцами в руках.

– Графиня де Громанс, – сказал архивариус, – урожденная Шапон. Известен только один Шапон: ее отец, самый заядлый ростовщик во всей округе. Я откопал также документы Громансов, принадлежащих к мелкому дворянству области. Имеется некая девица Сесиль де Громанс, которую в 1815 году наградили ребенком какой-то казак. Может получиться недурная статейка для местного листка. Я готовлю целую серию.

Господин Мазюр говорил правду. Он был ярким ненавистником своих сограждан и просиживал с утра до ночи на пыльном чердаке, под крышей префектуры, усердно листая сваленные там в кучу шестьсот тридцать семь тысяч дел, с единственной целью откопать скандальные истории о наиболее видных семьях в департаменте. И там, в пыли, среди груд средневекового пергамента и казенных бумаг, носящих печати двух веков и гербы шести королей, двух императоров и трех республик, он разыскивал наполовину изъеденные червями и мышами свидетельства давних преступлений и искупленных грехов и злорадно смеялся.

И пока они шли по кривой улице Тентельри, он занимал своими злобными разоблачениями г-на Бержере, снисходительного к грехам предков и интересующегося только их обычаями и нравами. По его словам, он в своих архивах отыскал одного Термондра, террориста и председателя клуба санкюлотов их города в 1793 году, который переименовал свое имя Никола-Эсташ на Марат-Пеплие. И Мазюр поспешил сообщить своему коллеге по Обществу археологии, г-ну Жану де Термондру, «присоединившемуся» монархисту и клерикалу, сведения о его забытом предке Марате-Пеплие Термондре, авторе гимна святой Гильотине. Он обнаружил также двоюродного прадеда архиепископского vicar, некоего г-на де Гуле, или, более точно, как тот сам подписывался, Гуле-Трокара, который брал военные поставки и в 1812 году был осужден на каторжные работы за поставку, вместо говядины, мяса больных сапом лошадей. И выдержки из этого процесса были опубликованы в передовой газетке департамента. Г-н Мазюр обещал еще более ужасные разоблачения о семье Лапра, известной кровосмесительством; о семье Куртре, опозоренной в 1814 году государственной изменой одного из своих членов; о семье Делион, разбогатевшей на спекуляциях хлебом; о семье Катрбарб, ведущей свое происхождение от двух разбойников, мужа и жены, повешенных во времена Консульства на дереве, на холме Дюрок, самими жителями. Еще около 1860 года попадались старожилы, которые припоминали, что видели в детстве на высоком дубе, под толстым суком, человеческое тело с развевающимися длинными черными волосами, пугавшими лошадей.

– Так она и провисела три года, – воскликнул архивариус, – и ото не кто иной, как родная бабка Гиацинта Катрбарба, епархиального архитектора!

– Очень любопытно, – сказал г-н Бержере, – но такие сведения надо хранить про себя.

Мазюр его не слушал. Он хотел все опубликовать, все огласить, вопреки префекту Вормс-Клавлену, который резонно говорил: «Надо избегать скандалов и поводов к раздорам», – и угрожал архивариусу сместить его, если тот не прекратит разглашения старых семейных тайн.

– Да, – воскликнул Мазюр, хихикнув в лохматую бороду, – все узнают, что в тысяча восемьсот пятнадцатом году девица де Громанс произвела на свет казачонка.

Они уже дошли до подъезда, и г-н Бержере поднял руку к звонку.

– Ну что тут такого? – сказал он, – Бедная барышня сделала то, что могла. Она умерла, казачонок умер. Не станем тревожить их память, а если мы и воскресим ее на мгновение, то будем снисходительны. Ну ради чего вы из кожи лезете?

– Ради справедливости.

Господин Бержере дернул звонок.

– Прощайте, господин Мазюр, не будьте справедливы, а будьте лучше снисходительны. Счастливого Нового года!

Господин Бержере взглянул сквозь грязное стекло в швейцарскую, нет ли для него в ящичке писем или каких-либо бумаг: вести издали и литературные журналы давали пищу его любознательности. Но он нашел только визитные карточки, которые напомнили ему о людях, таких же бесцветных и ничтожных, как сами карточки, да счет от мадемуазель Роз, модистки с улицы Тентельри. Взглянув мельком на счет, он подумал, что г-жа Бержере слишком много тратит и что хозяйство становится обременительным. Он чувствовал его тяжесть у себя на плечах и вдруг, стоя в подъезде, ощутил, будто несет на собственной спине всю квартиру – и гостиную с ее пианино, и чудовищный гардероб, который поглощал все его небольшие доходы и все-таки был постоянно пуст. Подавленный мыслями о домашних делах, он взялся за железные узорчатые перила, украшенные мягко изогнутыми завитками, и начал взбираться, опустив голову и отдуваясь, по каменным ступеням, теперь уже почерневшим, обшарпанным, разбитым, с заплатами из облупленных кирпичей и неказистых плиток, уж не блестящим новизной, как в былые дни, когда по ним взбегали во всю прыть знатные господа и красивые девушки, торопясь на поклон к откупщику государственных налогов Поке, который

разбогател, потому что драл шкуру со всей области. Г-н Бержере жил в особняке Поке де Сент-Круа, потерявшем свою былую славу, утратившем роскошь, обезображенном оштукатуренной надстройкой на месте изящного аттика<sup>[37]</sup> и величественной крыши, затемненным высокими зданиями, выросшими повсюду – там, где были сады, украшенные множеством статуй, пруды, парк, даже на парадном дворе, где Поке поставил аллегорический памятник своему королю, который каждые пять-шесть лет пускал ему кровь, а потом сызнова предоставлял сосать кровь королевских подданных.

Двор, окруженный великолепным тосканским портиком, исчез в 1857 году, когда улицу Тентельри стали выравнивать. И особняк Поке де Сент-Круа превратился в некрасивый доходный дом, за которым очень плохо смотрела чета стариков Гоберов, презиравшая г-на Бержере за его кротость и совсем не ценившая его подлинной щедрости, потому что он был человеком небогатым; зато они подбострастно принимали подачки от г-на Рено, который давал мало, но мог бы дать много, и потому-то его сто су отличались особой прелестью – они были частью большого капитала.

Дойдя до бельэтажа, где квартировал упомянутый г-н Рено, владелец участков, расположенных около нового вокзала, г-н Бержере посмотрел по привычке на барельеф над дверью. Там был изображен верхом на осле старый Силен, окруженный нимфами. Вот все, что осталось от внутреннего убранства особняка, построенного в конце царствования Людовика XV, в эпоху, когда французский стиль во что бы то ни стало хотели сделать античным, но, по счастью для него, не преуспев в этом, только придали ему ту чистоту, строгость, изящное благородство, которые особенно чувствуются в проектах Габриэля.<sup>[38]</sup> Особняк Поке де Сент-Круа был спроектирован как раз одним из учеников этого превосходного архитектора. Но его систематически уродовали. Из экономии, чтоб не тратить зря времени и денег, оставили на месте небольшой барельеф Силена и нимф, но зато его, под стать лестнице, закрасили масляной краской под красный гранит. Местное предание считало этого Силена изображением откупщика Поке, который слыл за самого некрасивого человека своего времени и вместе с тем за самого избалованного женской любовью; но г-н Бержере, хотя и не был большим знатоком искусства, признал в этой гротескной и в то же время величественной фигуре божественного старца тип, освященный двумя античными культурами и Ренессансом. Он не разделял общего заблуждения, и все же Силен, окруженный нимфами, всегда наводил его на мысль о Поке, который

вкушал все блага мира в тех же стенах где г-н Бержере вел жизнь трудную и небогатую радостями.

«Этот откупщик, – думал он, стоя на площадке, – обирал короля, а тот потом обирал его. Так устанавливалось равновесие. Особенно расхваливать финансовую систему монархии не приходится, ибо в конце концов именно дефицит привел старый режим к падению. Но надо отметить то обстоятельство, что в прежние времена король был единственным владельцем всего движимого и недвижимого имущества в королевстве. Всякий дом принадлежал королю, в подтверждение чего подданный, владевший им, изображал у себя над очагом королевский герб. И Людовик XIV не по праву реквизиции, а по праву собственности посылал на монетный двор для оплаты военных издержек серебряную утварь своих подданных. Он переплавлял даже церковные сокровища, и совсем недавно я читал, что он забрал из церкви Лиесской богородицы в Пикардии все *ex voto*, в том числе и изображение женской груди, пожертвованное королевой польской в благодарность за чудесное исцеление. Тогда все принадлежало королю, то есть государству. И ни социалисты, требующие национализации частной собственности, ни собственники, озабоченные сохранением своего добра, нисколько не задумываются над тем, что эта национализация была бы в некотором смысле возвратом к старому порядку. Философу мог бы показаться забавным тот вывод, что революция в конце концов была совершена ради скупщиков национальных имуществ и что декларация прав человека стала хартией собственников.

Этот Поке, приглашавший сюда самых хорошеньких девиц из Оперы, не был кавалером ордена Людовика Святого. Теперь же он был бы командором ордена Почетного легиона, и министры финансов являлись бы к нему за распоряжениями. Деньги доставляли ему удовольствия, ныне они доставили бы ему почет. Ведь теперь деньги стали почтенными. В наше время богачи – единственная знать. И прежнюю знать мы уничтожили лишь для того, чтобы поставить на ее место знать самую притесняющую, самую наглую и самую могущественную».

В этом месте размышления г-на Бержере были прерваны компанией принарядившихся мужчин, женщин и детей, выходявших от г-на Рено. Он сообразил, что это стая бедных родственников, поздравлявших старика с Новым годом, и ему показалось, будто они идут повесив нос. Он поднялся выше, так как жил на четвертом этаже, который любил называть «четвертым жильем», как говорили в XVII веке. И для иллюстрации этого устарелого термина он охотно цитировал стихи Лафонтена:

Какая польза вам читать и ночь и день?  
Четвертое жильё – приют ваш в мире этом,  
Одежка – скудная, одна зимой и летом,  
Лакеем же, увы, вам служит ваша тень.

И стихи и само выражение, которым он, пожалуй, злоупотреблял, раздражали г-жу Бержере, гордившуюся тем, что они занимают квартиру в центре города, в доме с приличными жильцами.

– Взберемся, – сказал он, – в четвертое жильё.

Он вынул часы и увидел, что только одиннадцать. А он пообещал вернуться в полдень, рассчитывая провести часок в лавке Пайо. Но там он наткнулся на запертую на замок дверь. Он не любил воскресений и праздников уж по одной той причине, что в эти дни книжная лавка бывала заперта. Сегодня он не мог нанести Пайо обычный визит и поэтому был не в духе.

Поднявшись на четвертый этаж, он тихонько всунул ключ в замок и, по обыкновению стараясь не шуметь, вошел в столовую. Это была довольно темная комната, насчет которой г-н Бержере не имел определенного мнения, зато г-жа Бержере полагала, что она обставлена со вкусом, так как над столом висела медная лампа, а дубовые стулья и буфет покрывала обильная резьба, на этажерке красного дерева стояли чашечки и, самое главное, на стене красовались расписные фаянсовые тарелки. Если войти в столовую через темную переднюю, то слева была дверь в кабинет, справа – в гостиную. Г-н Бержере имел обыкновение, воротясь домой, проходить налево, к себе в кабинет, где его ждали ночные туфли, книги и уединение. На этот раз он почему-то пошел направо, без всякого повода, без какого бы то ни было умысла. Он повернул ручку, толкнул дверь и, сделав шаг, очутился в гостиной.

И тут он увидел на диване две человеческие фигуры, которые сплелись в исступленной позе, выражавшей любовь и борьбу и бывшей на самом деле позой сладострастия. Голова г-жи Бержере была запрокинута и не видна, но ее чувства нашли явственное выражение в неприкрытых красных чулках. В лице г-на Ру было то сосредоточенное, значительное, неподвижное и маниакальное напряжение, которое не может обмануть, хотя его и не приходится наблюдать часто, и которому соответствовал беспорядок в его туалете. Впрочем, все изменилось в одну секунду. И перед глазами г-на Бержере предстали хотя и не был большим знатоком искусства, признал в этой гротескной и в то же время величественной

фигуре божественного старца тип, освященный двумя античными культурами и Ренессансом. Он не разделял общего заблуждения, и все же Силен, окруженный нимфами, всегда наводил его на мысль о Поке, который вкушал все блага мира в тех же стенах где г-н Бержере вел жизнь трудную и небогатую радостями.

«Этот откупщик, – думал он, стоя на площадке, – обирал короля, а тот потом обирал его. Так устанавливалось равновесие. Особенно расхваливать финансовую систему монархии не приходится, ибо в конце концов именно дефицит привел старый режим к падению. Но надо отметить то обстоятельство, что в прежние времена король был единственным владельцем всего движимого и недвижимого имущества в королевстве. Всякий дом принадлежал королю, в подтверждение чего подданный, владевший им, изображал у себя над очагом королевский герб. И Людовик XIV не по праву реквизиции, а по праву собственности посылал на монетный двор для оплаты военных издержек серебряную утварь своих подданных. Он переплавлял даже церковные сокровища, и совсем недавно я читал, что он забрал из церкви Лиесской богородицы в Пикардии все *ex voto*, в том числе и изображение женской груди, пожертвованное королевой польской в благодарность за чудесное исцеление. Тогда все принадлежало королю, то есть государству. И ни социалисты, требующие национализации частной собственности, ни собственники, озабоченные сохранением своего добра, нисколько не задумываются над тем, что эта национализация была бы в некотором смысле возвратом к старому порядку. Философу мог бы показаться забавным тот вывод, что революция в конце концов была совершена ради скупщиков национальных имуществ и что декларация прав человека стала хартией собственников.

Этот Поке, приглашавший сюда самых хорошеньких девиц из Оперы, не был кавалером ордена Людовика Святого. Теперь же он был бы командором ордена Почетного легиона, и министры финансов являлись бы к нему за распоряжениями. Деньги доставляли ему удовольствия, ныне они доставили бы ему почет. Ведь теперь деньги стали почтенными. В наше время богачи – единственная знать. И прежнюю знать мы уничтожили лишь для того, чтобы поставить на ее место знать самую притесняющую, самую наглуую и самую могущественную».

В этом месте размышления г-на Бержере были прерваны компанией принарядившихся мужчин, женщин и детей, вышедших от г-на Рено. Он сообразил, что это стая бедных родственников, поздравлявших старика с Новым годом, и ему показалось, будто они идут повесив нос. Он поднялся выше, так как жил на четвертом этаже, который любил называть

«четвертым жильем», как говорили в XVII веке. И для иллюстрации этого устарелого термина он охотно цитировал стихи Лафонтена:

Какая польза вам читать и ночь и день?  
Четвертое жилье – приют ваш в мире этом,  
Одежка – скудная, одна зимой и летом,  
Лакеем же, увы, вам служит ваша тень.

И стихи и само выражение, которым он, пожалуй, злоупотреблял, раздражали г-жу Бержере, гордившуюся тем, что они занимают квартиру в центре города, в доме с приличными жильцами.

– Взберемся, – сказал он, – в четвертое жилье.

Он вынул часы и увидел, что только одиннадцать. А он пообещал вернуться в полдень, рассчитывая провести часок в лавке Пайо. Но там он наткнулся на запертую на замок дверь. Он не любил воскресений и праздников уж по одной той причине, что в эти дни книжная лавка бывала заперта. Сегодня он не мог нанести Пайо обычный визит и поэтому был не в духе.

Поднявшись на четвертый этаж, он тихонько всунул ключ в замок и, по обыкновению стараясь не шуметь, вошел в столовую. Это была довольно темная комната, насчет которой г-н Бержере не имел определенного мнения, зато г-жа Бержере полагала, что она обставлена со вкусом, так как над столом висела медная лампа, а дубовые стулья и буфет покрывала обильная резьба, на этажерке красного дерева стояли чашечки и, самое главное, на стене красовались расписные фаянсовые тарелки. Если войти в столовую через темную переднюю, то слева была дверь в кабинет, справа – в гостиную. Г-н Бержере имел обыкновение, воротясь домой, проходить налево, к себе в кабинет, где его ждали ночные туфли, книги и уединение. На этот раз он почему-то пошел направо, без всякого повода, без какого бы то ни было умысла. Он повернул ручку, толкнул дверь и, сделав шаг, очутился в гостиной.

И тут он увидел на диване две человеческие фигуры, которые сплелись в исступленной позе, выражавшей любовь и борьбу и бывшей на самом деле позой сладострастия. Голова г-жи Бержере была запрокинута и не видна, но ее чувства нашли явственное выражение в неприкрытых красных чулках. В лице г-на Ру было то сосредоточенное, значительное, неподвижное и маниакальное напряжение, которое не может обмануть, хотя его и не приходится наблюдать часто, и которому соответствовал



беспорядок в его туалете. Впрочем, все изменилось в одну секунду. И перед глазами г-на Бержере предстали два человека, совершенно не похожие на тех, которых он застал, – два человека, смущенные, нелепые и несколько смешные с виду. Он мог бы подумать, что ошибся, но первая картина запечатлелась у него в глазах с яркостью, равной ее мимолетности.

## VI

В первый момент при виде такой недвусмысленной позы г-н Бержере ощутил то, что ощутил бы на его месте всякий простой несдержанный человек или дикий зверь. Преподаватель филологического факультета вдруг почувствовал себя наследником длинного ряда неизвестных предков, среди которых неизбежно были люди грубые и жестокие, потомком бесчисленных поколений людей, антропоидов и диких животных, от которых мы все ведем свое начало, существом, всосавшим с молоком матери разрушительные инстинкты древнего человека. Под влиянием потрясения эти инстинкты проснулись. Он почувствовал жажду крови и захотел убить г-на Ру и г-жу Бержере. Но хотел он этого недолго и несильно. Кровожадность его свелась к тому же, к чему свелись четыре клыка у него во рту и хищные когти, которыми когда-то были вооружены его пальцы: их первоначальная сила значительно поубавилась. Г-н Бержере жаждал убить г-на Ру и г-жу Бержере, но жаждал недолго. Он расшвырялся и ожесточился, но в весьма умеренной степени и на такой короткий срок, что за чувством не могло последовать действие и даже само выражение этого чувства ускользнуло, в силу своей мимолетности, от тех двух людей, которых оно касалось. Спустя мгновение первобытные разрушительные инстинкты г-на Бержере улеглись, но ревность не улеглась. Напротив, возмущение его возросло. В этом новом разрезе мысль его не была уже проста – она приобрела социальный характер, усложнилась смутно припоминаемыми строчками из старых богословских сочинений, цитатами из десяти заповедей, обрывками этики, греческими, шотландскими немецкими, французскими изречениями, отдельными местами из законодательства о нравственности; все это, как кремень об огниво, било по мозгу и воспламеняло его. Он почувствовал себя патриархом, отцом семейства в римском понимании этого слова, господином и судьей. В нем возникла добродетельная мысль покарать виновных. В первую минуту он хотел убить г-жу Бержере и г-на Ру из инстинктивной кровожадности, теперь он хотел убить их из чувства справедливости. Он обрекил на позорные и ужасные муки. Он обрушился на них со всей строгостью средневековых нравов. Этот мысленный пробег через века организованных обществ был продолжительнее первого. Он длился целых две секунды, за это время оба сообщника произвели в своей позе изменение, столь незначительное, что его вполне можно было бы не заметить, но столь

существенное, что характер их отношений казался совершенно другим.

Соображения религиозного и нравственного порядка постепенно улетучивались, и под конец г-ну Бержере стало как-то не по себе, он почувствовал, что омерзение широкой волной грязи заливают пламя его гнева. Протекло целых три секунды, а он ничего не сделал, его охватила нерешительность. По какому-то смутному и неясному инстинкту, свойственному его натуре, он с самого начала отвел глаза от дивана и устоялся на столик, стоявший у двери и покрытый оливковой скатертью с набивным цветным рисунком, на котором были изображены средневековые рыцари. Скатерть была сделана под гобелен. За три бесконечно долгие секунды г-н Бержере ясно разглядел маленького пажа, державшего шлем одного из рыцарей. Вдруг на столике, среди книг в красных с золотом переплетках, положенных там г-жой Бержере для хорошего тона, он узнал по желтой обложке факультетский «Бюллетень», позабытый им здесь накануне вечером. Вид этой книжки натолкнул его на действие, наиболее свойственное его характеру. Он протянул руку, взял бюллетень и вышел из гостиной, куда попал по какой-то роковой случайности.

В столовой он почувствовал себя одиноким, несчастным и удрученным. Он держался за стулья, чтобы не упасть. Если б он мог заплакать, ему было бы легче, но в обрушившейся на него беде была какая-то горечь, было что-то едкое, отчего слезы высыхали у него на глазах. Ему казалось, что если он и видел раньше эту маленькую столовую, по которой прошел несколько секунд тому назад, то в какой-то другой жизни. Ему казалось, будто свыкся он когда-то, давным-давно, в каком-то прежнем существовании, с этим резным дубовым буфетиком, с этажерками красного дерева, уставленными расписными чашечками, с фаянсовыми тарелками, развешанными по стенам, будто он сживал тут давным-давно за круглым столом с женой и дочками. Рушилось не его счастье (счастлив он никогда не был), а его неприглядный домашний очаг, его семейная жизнь, уже и прежде неуютная и тяжелая, а теперь – обесцещенная и растоптанная, уничтоженная целиком.

Когда юная Эфеми пришла накрывать на стол, он вздрогнул; словно она была выходцем из того исчезнувшего мира, в котором он некогда жил.

Он ушел к себе в кабинет, заперся там, сел за стол, открыл наудачу факультетский «Бюллетень», поудобней подпер обеими руками голову и по привычке стал читать.

Он прочитал:

**«Заметки о чистоте языка. Языки подобны дремучим**

лесам, где слова выросли, как хотели или как умели. Встречаются странные слова, даже слова-уроды. В связной речи они звучат прекрасно, и было бы варварством подрезать их» как липы в городском саду. Надо уважать то, что великий языковед-описатель называет *неоформленной вершиной...*»

«А дочки! – подумал г-н Бержере. – Как она о них не подумала! Как она не подумала о наших дочках...»

Затем он прочитал, не вникая:

«Такие слова – несомненно уроды. Мы говорим: «сегодняшний день», то есть «сего-дня-шний день», между тем ясно, что это нагромождение одного и того же понятия; мы говорим: «завтра утром», а это то же, что «за-утра утром», и тому подобное. Язык исходит из недр народа. В нем много безграмотностей, ошибок, фантазии, и его высшие красоты наивны. Создавали его не ученые, а люди, близкие к природе. До нас он дошел из глубины веков, и те, кто нам его передал, не лингвисты и не могут равняться знаниями с Ноэлем и Шапсалем». <sup>[39]</sup>

Он продолжал свою думу:

«В ее годы, при ее скромной, скудной жизни... Будь она красивая, праздная, окруженная поклонниками женщина, тогда понятно... Но чтобы она!..»

И так как он привык к чтению, то продолжал машинально читать:

«Будем пользоваться им как драгоценным наследием. И не будем слишком придирчивы. Излишнее внимание к этимологии вредно в разговоре и даже в письме...»

«А он, мой любимый ученик, принятый у нас в доме... ведь он должен был бы...»

«Согласно этимологии чорт есть то, что черно, а душа есть то, что дышит, но человечество вложило в эти старые слова смысл, которого они первоначально не имели...»

– Рогоносец!

Это слово сорвалось с его губ так отчетливо, что он даже ощутил его во рту, будто какую-то металлическую бляшку или небольшую медаль. Рогоносец!..

Ему вдруг представилось все то будничное, обыденное, смешное, неуклюже-трагическое или плоско-комическое, нескладное, пошлое, что заключалось в этом слове, и он печально усмехнулся.

Он хорошо знал Рабле, Лафонтена и Мольера и потому назвал себя тем именем, которое, несомненно, вполне ему подходило. Но он перестал смеяться, если только можно считать, что он смеялся.

«Разумеется, – думал он, – это событие незначительное и обычное. Но ведь и сам я тоже человек незначительный в людском обществе, стало быть тут есть некая соразмерность; мне оно представляется важным, и потому нечего стыдиться страданий, которые оно мне причиняет».

И поддавшись этой мысли, он погрузился в свое горе и замкнулся в нем. Ему стало очень жалко себя, как это бывает с больными, и он старался отогнать мучительные образы и назойливые думы, все снова возникавшие в его воспаленном мозгу. То, что он видел, внушало ему физическое отвращение, причины которого он тут же стал доискиваться, ибо по природе своей был склонен к философствованию.

«Нельзя, – рассуждал он, – относиться безразлично к тому, что вызывает в нас самые страстные желания, что волнует плоть и кровь; как только мы перестаем испытывать сладострастие, нам делается противно то, что его вызвало. Сама по себе Амели неспособна возбудить во мне эти противоречивые чувства, но, что ни говори, она одно из самых типичных и наиболее определенных воплощений Венеры, вожденной людьми и богами, хотя, правда, и одно из наименее приятных, а для меня и наименее таинственных ее воплощений. Ее образ, слитый с образом моего ученика, г-на Ру, в едином порыве и во взаимном чувстве, как раз и низводит ее к тому примитивному типу, который, как я уже сказал, может только привлекать или отталкивать. Итак, мы видим, что всякий эротический символ либо разжигает желание, либо охлаждает его и поэтому с одинаковой силой либо привлекает, либо отталкивает взор, в зависимости от физиологического предрасположения тех, кто его видит, а иногда и в зависимости от последовательных душевных состояний одного и того же свидетеля.

Такое наблюдение приводит нас к пониманию истинных причин того, что эротические акты всегда и везде совершались тайно, дабы не вызывать в окружающих сильные и противоположные эмоции. Постепенно стали даже скрывать все то, что могло напомнить об этих актах. Так родилась

Стыдливость, подчинившая себе всех людей, особенно же, сильная у народов чувственных».

И г-н Бержере подумал:

«Случай помог мне понять происхождение этой добродетели, которая только потому самая многообразная, что она самая всеобщая, – происхождение Стыдливости, именуемой у греков Стыдом. К этой привычной добродетели, которая коренится в свойстве человеческого ума, общем для всех людей, присоединились самые нелепые предрассудки, затемнившие ее смысл. Однако я в состоянии теперь установить истинную теорию стыдливости. Ньютон, под своим деревом, менее дорогой ценой открыл закон тяготения».

Так рассуждал г-н Бержере, сидя у себя в кресле. Но он плохо справлялся с душевными порывами и тут же стал вращать налитыми кровью глазами, заскрежетал зубами и так сильно сжал кулаки, что ногти впились в ладони. Перед его умственным взором с неумолимой четкостью возник образ его ученика, г-на Ру, в том самом виде, который должен быть скрыт от посторонних взоров по причинам, только что блестяще изложенным профессором. Г-н Бержере не был лишен способности, известной под названием зрительной памяти. Правда, глаз его не был насыщен воспоминаниями, как глаз художника, хранящего в какой-то извилине своего мозга огромные и бесчисленные картины, но все же он без особого усилия и довольно верно воспроизводил в уме раз виденное, если оно остановило на себе его внимание; он любовно берег в альбоме своей памяти очертание красивого дерева или изящной женщины, запечатлевшееся однажды у него в глазу. Но никогда еще в его мозгу не возникал такой отчетливый, яркий, точный, выписанный до мелочей и в то же время сильный, полный, цельный, крепкий и властный образ, как возникший сейчас образ его ученика, г-на Ру, в объятиях г-жи Бержере. Это представление, целиком соответствующее действительности, было отвратительно; оно было неверно, поскольку придавало бесконечную длительность действию, в сущности, мимолетному. Создаваемая им полная иллюзия придавала всем подробностям циничное упорство и невыносимую продолжительность. И на этот раз г-н Бержере снова захотел убить своего ученика, г-на Ру. Он уже занес руку, он уже представил себе это убийство, и до того ярко, что почувствовал себя совершенно измученным.

Затем он опять задумался и понемногу, незаметно, заблудился в лабиринте сомнений и противоречий. Мысли расплывались, путались, теряли яркость окраски, как капли акварели в стакане воды. И вскоре он перестал уже понимать то, что произошло.

Он окинул унылым взором комнату, стал рассматривать цветы на обоях и заметил, что букеты плохо пригнаны и половинки красных гвоздик не сходятся. Посмотрел на простые полки, уставленные книгами. Посмотрел на шелковую подушечку с кружевами, которую несколько лет тому назад сделала ему к именинам г-жа Бержере. И тут он растрогался при мысли о нарушенной семейной жизни. Он никогда не чувствовал особой любви к этой женщине, на которой женился по совету друзей – ибо сам был неспособен устроить свою жизнь. Теперь он не любил ее совсем. Но она составляла значительную часть его жизни. Он подумал о дочерях, гостивших у тетки в Аркашоне, о старшей, Полине, похожей на него и его любимице. И он заплакал.

Вдруг сквозь слезы он увидел ивовый манекен, на котором г-жа Бержере примеряла платья и который обычно держала у г-на Бержере в кабинете, перед книжным шкафом, пренебрегая ворчанием мужа, жаловавшегося, что он вынужден обнимать и передвигать эту ивовую женщину всякий раз, как ему надо достать какую-либо книгу с полки. Г-на Бержере всегда раздражал этот предмет, напоминавший ему деревенскую клетку для цыплят и вместе с тем виденного им в детстве на картинке в учебнике древней истории сплетенного из камыша человекоподобного идола, в котором, как ему говорили, финикияне сжигали детей. Но особенно напоминал он г-жу Бержере, и, хотя эта фигура была без головы, г-н Бержере так и ждал, что она вот-вот завизжит, заохает, разразится бранью. На сей раз эта безголовая фигура показалась ему самой г-жой Бержере, противной и нелепо уродливой г-жой Бержере. Он бросился на нее, сжал так, что ивовый остов затрещал у него под пальцами, словно ребра, повалил, стал топтать ногами, поднял, изуродованную и кряхтящую, и выбросил из окна во двор к бочару Ланфану, где она упала на кучу лоханок и шаек. У него было ощущение, что он совершил действие, поистине символическое, но тем не менее нелепое и смешное. Все же он почувствовал некоторое облегчение. И когда юная Эфеми пришла доложить, что завтрак стынет, он пожал плечами, нерешительно прошел через пустую еще столовую, взял в передней шляпу и спустился с лестницы.



На крыльце он понял, что не знает, куда идти, что делать, не пришел еще ни к какому решению. Когда он очутился на улице, он заметил, что идет дождь, а у него нет зонта. Это обстоятельство его несколько раздосадовало, но зато и отвлекло. Пока он раздумывал, не решаясь выйти под дождь, он увидел на выбеленной стене под звонком, на высоте, доступной ребенку, рисунок углем. Был нарисован человечек: кружок с двумя точками и двумя черточками изображал лицо, овал обозначал туловище; вместо рук и ног были проведены палочки, расходящиеся, как спицы в колесе, что придавало забавный вид этой мазне, исполненной в классическом стиле озорной стенописи. Рисунок был нацарапан несколько дней назад: кое-где он был уже смазан, а местами почти стерся. Но г-н Бержере только сейчас его заметил, потому что наблюдательность его, без сомнения, теперь обострилась.

*Графито* <sup>[40]</sup>! – воскликнул про себя профессор.

И он обратил внимание на то, что над головой человечка красовались рога, а сбоку, чтобы узнали, кто это, было написано: «Бержере».

«Все знали! – подумал он. – Озорники по дороге в школу возвещают об этом на стенах, и я стал притчей во языцех. Может быть, эта женщина



обманывает меня уже давно и с кем попало. Это графито дало мне больше, чем долгое и тщательное дознание».

И, стоя под дождем в луже, он рассматривал графито; он заметил, что буквы надписи выведены неумело, а линии рисунка идут косо, как и надпись.

И он побрел под дождем, раздумывая о графито, начертанных когда-то неискусной рукой на стенах Помпеи, а ныне прочитанных, собранных и разъясненных филологами. Он подумал о палатинском<sup>[41]</sup> графито, о неуклюжих линиях, торопливо нацарапанных каким-то досужим солдатом на стене караульного помещения.

«Прошло восемнадцать веков с тех пор, как римский солдат нарисовал карикатуру на своего товарища Александроса, поклонявшегося богу с ослиной головой, распятому на кресте. Ни один памятник древности не изучался с большим интересом, чем палатинское графито. Оно воспроизводилось бесконечное число раз. Теперь и у меня, как у Александроса, есть свое графито. Допустим, какое-нибудь стихийное бедствие разрушит завтра этот противный, скучный город, но его остатки уцелеют для науки тридцатого века, и мое графито будет открыто в отдаленном будущем. Что по поводу его скажут ученые? Поймут ли они его примитивную символику? Разберут ли они хотя бы мое имя, начертанное буквами забытого алфавита?

Под мелким дождем, в сыром тумане, г-н Бержере дошел до площади св. Экзюпера. Между двумя контрфорсами церкви он увидел лавку с красным сапогом вместо вывески. Заметив, что его башмаки, износившиеся за долгую службу, промокают, он подумал, что отныне самому придется заботиться о своей одежде, тогда как до сего дня он предоставлял делать это жене, и прямо направился к сапожнику. Тот приколачивал гвоздями подметки.

– Зравствуйте, Пьеданьель!

– Доброго здоровья, господин Бержере!.. Что угодно вашей милости?

И сапожник, подняв угловатую голову, улыбнулся заказчику беззубым ртом. Его худое лицо с глубоко запавшими глазами и выдающимся подбородком напоминало своими жесткими и скупыми линиями, желтизной и грустным выражением каменные изваяния на портале старой церкви, около которой он родился, жил и где ему предстояло умереть.

– Будьте покойны, господин Бержере, ваша мерка у меня имеется, а что обувь вы любите просторную, это я знаю. И правильно, господин Бержере, незачем стеснять ногу.

– Но у меня довольно высокий подъем и выгнутая ступня, – заметил г-

н Бержере. – Не ошибитесь!

Господин Бержере не щеголял своей ногой. Но как-то он прочитал, что Ламартин с гордостью показывал свою босую ногу с высоким подъемом и ступней, изогнутой, как арка моста. И г-н Бержере, основываясь на этом примере, испытывал некоторое удовольствие оттого, что ступня у него не плоская. Он сел на плетеный стул, покрытый ветхим обюссонским ковриком, и оглядел мастерскую и сапожника. На выбеленной, сильно потрескавшейся стене висел крест черного дерева, за который была засунута буксовая ветка. И маленький медный Христос, пригвожденный к кресту, склонял голову над сапожником, пригвожденным к табуретке за верстаком, заваленным раскроенными кусками кожи и деревянными колодками с кожаными кружочками в том месте, где на ноге, по которой была сделана колодка, выступали болезненные шишки. Чугунная печурка была раскалена докрасна, сильно пахло кожей и стряпней.

– Я с удовольствием замечаю, – сказал г-н Бержере, – что у вас работы хоть отбавляй.

Но сапожник разразился бессвязными, сбивчивыми и справедливыми жалобами. Времена не те, что раньше. Где уж выдержать конкуренцию с фабричным производством. Покупатель тянется за парижанами и берет готовую обувь в магазинах. – Заказчики умирают, – прибавил он. – Я лишился господина кюре Рие. Остается только починка, а на ней много не заработаешь.

И г-на Бержере охватила грусть при виде этого средневекового сапожника, вздыхающего под маленьким распятием. Он нерешительно спросил:

– Вашему сыну, верно, уже лет двадцать? Что он делает?

– Фирмен? Вы, должно быть, знаете, – ответил сапожник, – что из семинарии он ушел, так как призвания не чувствовал. Наставники не оставили его своей милостью после того, как исключили из заведения. Господин аббат Лантень нашел ему место воспитателя в Пуату, у одного маркиза. Да Фирмой сгоряча отказался. Теперь он в Париже – репетитором в учебном заведении на улице Сен-Жак, только вот заработок маловат.

И сапожник грустно прибавил:

– Мне бы нужно...

Он не закончил и продолжал:

– Вот уже двенадцать лет как я овдовел. Мне бы нужно жениться – без жены в хозяйстве нельзя.

Он умолк, забил три гвоздя в подметку и сказал:

– Только мне бы жену серьезную.

Он снова принялся за работу. И вдруг, подняв к пасмурному небу болезненное и угрюмое лицо, пробормотал:

– И потом – одному тоска.

Господин Бержере радостно встрепенулся: на пороге книжной лавки он увидал Пайо. Он встал.

– Будьте здоровы, Пьеданьель! Так, смотрите, не обузьте в подъеме!

Но сапожник, стараясь удержать его умоляющим взглядом, спросил, не знает ли он случайно какой-нибудь женщины, не очень молодой, работающей, вдовы, которая вышла бы за вдовца, держащего небольшую лавочку.

Господин Бержере с изумлением смотрел на этого человека, который хотел жениться. А Пьеданьель продолжал развивать свою мысль.

– Есть, правда, – сказал он, – разносчица хлеба с улицы Тентельри. Да она любит выпить. Есть еще кухарка покойного настоятеля церкви святой Агнесы. Да она нос задирает, потому что денежки есть.

– Пьеданьель, – сказал г-н Бержере, – чините башмаки вашим согражданам, довольствуйтесь жизнью затворника в своей одинокой мастерской и не женитесь вторично: это неблагоприятно.

Он захлопнул за собою застекленную дверь, перешел на ту сторону и вошел к Пайо.

Книгопродавец был один в лавке. Это был сухой, невежественный человек. Говорил он мало и думал только о своей торговле да о даче на холме Дюрок. Но г-на Бержере, непонятно почему, влекло и к этому книгопродавцу и к его книжной лавке. У Пайо он отдыхал душой, здесь у него рождались новые мысли.

Господин Пайо был богат и обычно не жаловался. Все же он сообщил г-ну Бержере, что на учебниках не заработать, как прежде. Вошедшие в обычай скидки тоже уменьшают доходы. Снабжение школ книгами стало настоящей головоломкой, ибо программы все время меняются.

– Прежде было больше устойчивости, – сказал он.

– Не думаю, – возразил г-н Бержере. – Здание нашего классического образования непрерывно перестраивается. Это памятник старины, на структуре которого отразились черты всех эпох. Фронтон – в стиле ампира над иезуитским портиком; галереи – в стиле рококо, колоннады – как в Лувре, лестницы во вкусе эпохи Возрождения, готические залы, романские склепы; а если обнажить фундамент, обнаружится, надо думать, *opus spicatum*<sup>[42]</sup> и римский цемент. На каждой из частей можно было бы сделать надпись, указывающую на ее происхождение: «Императорский

университет тысяча восемьсот восьмого года – Роллен<sup>[43]</sup> – Ораторианцы<sup>[44]</sup> – Пор-Рояль – Иезуиты – Гуманисты эпохи Возрождения – Схоласты – Латинские риторы Отена<sup>[45]</sup> и Бордо<sup>[46]</sup>». Каждое поколение по своему переделывает и надстраивает этот дворец премудрости.

Господин Пайо выпучил глаза на г-на Бержере, поглаживая широкий подбородок, обросший рыжей бородой. Затем, оробев, скрылся за прилавком. И г-ну Бержере пришлось поторопиться с выводами:

– Только благодаря этим последовательным подправкам здание еще держится. Если в нем ничего не менять, оно тут же развалится. Надо подправить еще кое-какие части, которые грозят обвалом, и пристроить несколько зал новейшей архитектуры. Но я уже слышу зловещий треск.

Так как Пайо благоразумно воздержался от ответа на эти непонятные речи, наводящие на него страх, г-н Бержере молча прошел в букинистический угол.

Сегодня, как и всегда, он взял XXXVIII том «Всеобщей истории путешествий». Сегодня, как и всегда, книга сама открылась на 212-й странице. Со страницы на него глядели слившиеся в объятии образы г-жи Бержере и г-на Ру... И он снова прочитал знакомый текст, не понимая того, что читает, думая свою думу, вызванную существующим положением дел:

«... искать проход на север. «Именно этой неудаче, – сказал он (Конечно, это событие вовсе не необычайное и не редкое и не должно удивлять философа), – мы обязаны тем, что имели возможность вновь посетить Сандвичевы острова (Оно чисто Домашнего свойства и разрушает мою семью; у меня нет больше семьи) и обогатить наше путешествие открытием (У меня нет больше семьи, нет семьи), которое, хотя оно и было последним по времени (Я нравственно свободен, это очень важно), по-видимому, во многих отношениях окажется наиболее значительным из открытий, до сих пор сделанных европейцами на всем протяжении Тихого океана...»

И г-н Бержере закрыл книгу. Ему уже мерещились избавление, свобода, новая жизнь. Это был только луч во тьме, но луч яркий и определенный. Как выйти из тупика? Он не знал. Но впереди брезжил светлый огонек. И если у него еще сохранилось зрительное впечатление от г-жи Бержере в объятиях г-на Ру, то теперь он воспринимал это как неприличную картинку, не внушавшую ему ни гнева, ни отвращения, как бельгийский фронтиспис на какой-нибудь фривольной книжке, как

виньетку. Он вынул часы и увидел, что было два часа. Ему понадобилось девяносто минут, чтобы прийти до такого философски спокойного состояния.

## VII

Когда г-н Бержере, взяв со столика факультетский «Бюллетень», молча вышел из гостиной, оба, и г-н Ру и г-жа Бержере, вздохнули с облегчением.

– Он ничего не видел, – прошептал г-н Ру, склонный легко отнестись к случившемуся.

Но г-жа Бержере, желавшая, наоборот, чтобы сообщник почувствовал всю свою долю возможной ответственности, с выражением глубокого сомнения покачала головой. Она была взволнована, а главное – раздосадована. Кроме того, она испытывала какой-то стыд за то, что так глупо дала себя поймать человеку, которого ничего не стоило провести и которого она презирала за его доверчивость. Словом, она испытывала беспокойство, как это обычно бывает при всяком новом положении.

Господин Ру снова попытался подбодрить ее, а равно и себя самого:

– Он нас не видел. Я уверен. Он посмотрел только на столик.

И так как г-жа Бержере все еще сомневалась, он стал утверждать, будто от двери не видно сидящих на диване. Г-жа Бержере захотела сама в этом убедиться. Она пошла к двери, а г-н Ру распростерся на диване, один изображая собой застигнутую парочку.

Но эксперимент оказался неубедительным, и г-н Ру в свою очередь пошел к двери, а г-жа Бержере воспроизвела любовную сцену.

Они несколько раз с серьезным видом проделали то же самое. уже охладев друг к другу и начиная раздражаться. И г-ну Ру не удалось успокоить сомнений г-жи Бержере.

Тогда он крикнул, потеряв терпение:

– Ну, если он нас видел, то он настоящий...

И он употребил слово, которое г-жа Бержере не совсем понимала, но которое, судя по лицу г-на Ру, она сочла грубым, непристойным и чрезвычайно оскорбительным. Она рассердилась на г-на Ру за то, что он произнес его.

Впрочем, г-н Ру счел, что его дальнейшее пребывание около г-жи Бержере может лишь повредить ей, и, не желая, по свойственной ему деликатности, встретаться с благосклонным к нему учителем, которого он оскорбил, пробормотал на ухо Амели несколько ободряющих слов и сейчас же на цыпочках вышел из комнаты. Г-жа Бержере, оставшись одна, отправилась в спальню поразмыслить о случившемся.

Своему поступку, как таковому, она не придавала особого значения.

Прежде всего, если ей еще не приходилось бывать в подобном положении с г-ном Ру, то приходилось с другими, правда очень немногими. К тому же поступок, который теоретически принято считать чудовищным, в повседневной жизни предстает во всей своей обыденности и невинной простоте. Перед лицом действительности предрассудок исчезает. Г-жа Бержере не принадлежала к числу женщин, которые не в состоянии преодолеть страсть, скрытую в тайниках их существа, и не хотят примириться со своей будничной семейной жизнью. Хотя ей и нельзя было отказать в темпераменте, все же она отличалась рассудительностью и дорожила своей репутацией. Она не искала интрижек. Ей было тридцать восемь лет, и она всего три раза изменила мужу. Но этого было достаточно, чтобы не преувеличивать значения своего проступка. Она не была склонна к этому, тем более, что третий случай в основном был похож на два первые, которые не доставили ей ни особых огорчений, ни особых радостей и вскоре были ею позабыты. Призраки раскаяния не витали перед большими серо-зелеными глазами этой добродетельной семьянинки, она считала себя женщиной порядочной, ей было лишь досадно и стыдно, что ее поймал муж, которого она глубоко презирала, и эта беда была ей особенно неприятна, потому что стряслась с ней напоследок, в возрасте, когда умеешь спокойно рассуждать. Обе первые связи начались совершенно так же. Обычно г-же Бержере весьма льстило, когда она производила впечатление на человека из общества. Она не оставалась равнодушной к ухаживаниям и никогда не находила их чрезмерными, ибо считала себя обаятельной. До романа с г-ном Ру она дважды достигала того предела, когда женщине поздно отступать, ибо для этого у нее уже нет ни физической возможности ни моральной силы. В первый раз у нее был роман с человеком уже пожилым, чрезвычайно опытным, отнюдь не эгоистичным а желавшим быть ей приятным. Но волнение, неизбежное при первой измене, отравило ей все удовольствие. Во второй раз интрига заинтересовала ее больше. К несчастью, ему не хватало опытности. Теперь же г-н Ру причинил ей слишком много неприятностей, и все, что было между ними до того, как они попались, вылетело у нее из головы. Если она и старалась вспомнить их позу на диване, то только желая выяснить, что мог увидеть г-н Бержере, и знать, до каких пределов можно еще лгать и обманывать его.

Она была унижена, раздосадована, ей было стыдно при мысли о взрослых дочерях; она понимала, что попала в смешное положение. Но страха она не испытывала. Она была уверена, что хитростью и наглостью смирит этого кроткого, робкого, не от мира сего человека, над которым

чувствовала свое превосходство.

Мысль, что она во всех отношениях стоит выше г-на Бержере, никогда не покидала ее. Эта мысль вдохновляла все ее поступки, ее слова, даже ее молчание. В г-же Бержере было развито чувство фамильной гордости. Она была урожденная Пуни, дочь Пуйи, инспектора университета, племянница Пуйи, одного из составителей «Словаря», правнучка того самого Пуйи, который в 1811 году написал «Мифологию для девиц» и «Дамскую пчелу». Отец укрепил в ней чувство семейного достоинства.

Ну что значил какой-то там Бержере по сравнению с урожденной Пуйи! Итак, исход предстоящего пререкания ее не беспокоил, и она ждала мужа, вооружившись наглостью и хитростью. Однако, когда наступило время завтрака и она услышала, что г-н Бержере сходит с лестницы, она забеспокоилась. Отсутствие мужа внушало ей опасения. Он становился загадочным, почти страшным. Она ломала себе голову, силясь предугадать, что он скажет, и изобретала различные ответы, то лживые, то запальчивые, смотря по обстоятельствам. Она насторожилась, подтянулась, чтобы отразить нападение. Мысленно она рисовала себе патетические жесты, угрозы покончить с собой, сцену примирения. К вечеру она разнервничалась. Она плакала, кусала носовой платок. Теперь она желала, жаждала объяснений, нападок, неистовства, ждала г-на Бержере со страстным нетерпением. В девять часов она, наконец, услышала его шаги на площадке. Но он не пошел в спальню. Вместо него пришла служанка и сказала нахально и угрюмо:

– Барин приказал поставить ему железную кровать в кабинет.

Госпожа Бержере была подавлена и ничего не ответила.

В эту ночь она спала довольно крепко. Но решимость ее была сломлена.



## VIII

Аббат Гитрель пригласил на завтрак настоятеля церкви св. Экзюпера, протоиерея Лапрюна. Они сидели вдвоем за круглым столиком, на который Жозефина поставила омлет с зажженным ромом.

Служанка г-на Гитреля уже несколько лет как достигла канонического возраста; она была усата и уж, конечно, совсем не походила на ту, какой ее выводили в фривольных рассказах, составленных на старый галльский образец. Ее наружность никак не вязалась с игривыми сплетнями, ходившими по городу от «Коммерческого кафе» до лавки г-на Пайо, от радикальной аптеки г-на Мандара до янсенистского салона г-на Лерона, товарища прокурора в отставке. Правда, преподаватель духовного красноречия сажал служанку с собой за стол, когда у него не бывало гостей, и делился с ней пирожными, тщательно, умело и заботливо выбранными в лавке г-жи Маглуар, но делалось это из чистой и совершенно невинной привязанности к необразованной и грубой, но рассудительной и толковой старой деве, преданной своему хозяину, гордившейся им и ради него готовой перегрызть любому глотку.

Несомненно, ректор духовной семинарии аббат Лантень излишне доверял рассказам о любовных похождениях Гитреля и его служанки, которые все повторяли, но которым никто не верил, даже г-н Мандар, аптекарь с улицы Культуры, наиболее передовой из членов муниципального совета, слишком много сам присочинивший к этим игривым анекдотам, чтобы в душе не усомниться в подлинности всего сборника. А сборник историй, выдуманных об этих двух почтенных особах, был объемист. И если бы г-н Лантень лучше знал «Декамерон», «Гептамерон»<sup>[47]</sup> и «Сто новых новелл», то он не раз нашел бы источник того или другого забавного приключения и странных речей, которые в городе охотно приписывались г-ну Гитрелю и его служанке Жозефине. Когда г-ну Мазюру, городскому архивариусу, случалось вычитать в старых книгах какое-нибудь приключение похотливого священника, он считал себя обязанным приписать его г-ну Гитрелю. Один г-н Лантень верил тому, что все повторяли, сами не веря своим словам.

– Погодите, господин аббат, – сказала служанка, – сейчас подам ложку для подливки.

С этими словами она достала из буфета оловянную ложку с длинной ручкой и подала ее г-ну Гитрелю. И покуда кюре поливал пламенем

потрескивающий сахар, от которого пахло леденцом, служанка, прислонясь к буфету и скрестив руки, смотрела на стенные часы с музыкой: на золоченом диске был изображен типичный швейцарский пейзаж, из туннеля выходил поезд, воздушный шар подымался в небо, а эмалевый циферблат был вделан в церковную колоколенку. В то же время она бдительным оком следила за коротенькой ручкой хозяина, который едва управлялся с горячей ложкой. Она торопила его:

– Да ну же, господин аббат! Как бы не погасло!

– Пахнет в самом деле очень аппетитно, – заметил протоиерей. – В последний раз, как мне готовили это кушанье дома, блюдо треснуло от жара, и ром пролился на скатерть. Мне было очень досадно, особенно когда я увидел, какое уныние выразилось на лице моего сотрапезника господина Табари.

– А все оттого, господин кюре, – вмешалась служанка, – что у вас на тонком фарфоре кушают. Вам все самое лучшее подавай. А фарфор, чем тоньше, тем больше огня боится. Вот это блюдо – из огнеупорной глины, ему нипочем ни жар, ни холод. Станет мой хозяин епископом, ему омлеты на серебряном блюде подавать будут.

Пламя в оловянной ложке вдруг погасло, и аббат Гитрель перестал поливать омлет. Бросив на служанку суровый взгляд, он сказал:

– Жозефина, запрещаю вам впредь вести подобные разговоры.

– А между тем, – сказал настоятель церкви св. Экзюпера, – вы один находите в таких разговорах что-то предосудительное, дорогой господин Гитрель. Вы получили драгоценный дар – светлый ум. Человек вы ученый, и было бы желательно, чтобы вас удостоили епископского сана. Как знать, быть может, устами этой простой женщины глаголет истина? Ведь вас уже называли в числе кандидатов, наиболее достойных туркуэнской епархии.

Господин Гитрель насторожился и скосил глаз на собеседника, не поворачивая головы.



Он был озабочен. Дела его не двигались. В нунциатуре он не узнал ничего определенного. Осторожность Рима начинала его тревожить. Ему показалось, будто к г-ну Лантеню благоволят в министерстве культов. Словом, от поездки в Париж у него осталось неприятное впечатление. И сейчас он пригласил к завтраку настоятеля церкви св. Экзюпера только потому, что знал о его близости к партии аббата Лантеня и надеялся выведать от благодушного кюре тайну противника.

– И в самом деле, – продолжал протоиерей, – почему бы вам, как господину Лантеню, не стать в свое время епископом?

Вслед за этим именем наступила тишина, и только часы на стене тоненьким голоском пропели старинную мелодию. Пробило двенадцать.

Аббат Гитрель слегка дрожащей рукой пододвинул кюре Лапрюну фаянсовое блюдо.

– Как нежно на вкус! – сказал тот. – Нежно и крепко. У вас не стряпуха, а настоящий повар.

– Вы сейчас упомянули о господине Лантене? – переспросил аббат Гитрель.

– Ну, конечно, – ответил кюре Лапрюн. – Я не говорю, что господин Лантень уже назначен епископом в Туркуэн. Нет! Утверждать это преждевременно. Но как раз сегодня утром я слышал от лица, близкого к архиепископскому викарию, что не сегодня завтра нунциатура и министерство сговорятся насчет господина Лантенья. Эти сведения, разумеется, требуют еще проверки. Господин де Гуле мог счесть за действительность собственные свои надежды. Вы ведь знаете, он горячо желает успеха господину Лантеню. И успех вполне правдоподобен. Еще не так давно известная непримиримость взглядов, которую как будто можно приписать господину Лантеню, могла внушить опасения гражданским властям, питающим досадное недоверие к духовенству. Но времена переменялись. Тучи рассеялись. И некоторые лица, до сих пор стоявшие вне политики, начинают приобретать влияние даже в правительственных сферах. Уверяют, будто поддержка кандидатуры господина Лантенья генералом Картье де Шальмо сыграла решающую роль. Вот какие дошли до меня толки и слухи, правда еще очень неопределенные.

Служанка Жозефина вышла из столовой. Но казалось, будто ее бдительная тень вот-вот появится в приотворенной двери.

Господин Гитрель не говорил и не ел.

– В этом омлете, – заметил протоиерей, – есть какой-то приятный, душистый привкус, но никак не разберешь, что это такое. Вы мне позволите узнать рецепт у вашей служанки?

Час спустя г-н Гитрель проводил гостя и побрел, сгорбив спину, в семинарию. В задумчивости пройдя до конца кривую и неровную улицу Шантр, он покрепче запахнул на груди стеганую сутану, чтобы не так пронимал ледяной ветер, гулявший над остроконечной крышей собора. Здесь было самое темное и самое холодное место в городе. Он ускорил шаги и, дойдя до Базарной улицы, остановился перед лавкой мясника Лафоли.

Она была загорожена решеткой, будто клетка для львов. В глубине, перед колодой, на которой рубят мясо, под бараньими тушами, подвешенными на крюках, дремал мясник. Он начал работу чуть свет, и усталость разморила его могучее тело. Он сидел, не сняв с пояса точильного бруска, скрестив голые руки, растопырив ноги под белым фартуком, перепачканным кровью, и время от времени клевал носом. Его красное лицо лоснилось на шее, над расстегнутым воротом розовой рубахи, вздулись жилы. От него веяло спокойной силой. Г-н Бержере

говорил, что он несколько напоминает гомеровских героев, ибо ведет подобный же образ жизни и, как они, проливает кровь своих жертв.

Мясник Лафоли дремал. Около него дремал его сын, такой же краснощекий. Приказчик уронил сонную голову на мраморный прилавок, уткнувшись носом в ладони, разметав волосы среди кусков мяса. За стеклянной загородкой, при входе в лавку, сидела выпрямившись, прикрыв отяжелевшие веки, тоже сморенная сном, г-жа Лафоли, жирная, грудастая, пропитавшаяся кровью убитых животных. От всего семейства исходила грубая и величественная сила, какая-то варварская царственность.

Аббат Гитрель некоторое время смотрел на них, переводя быстрый взгляд с одного на другого и с интересом снова останавливая его на гиганте-хозяине, на его багровых щеках, пересеченных длинными рыжими усами, на мелких лукавых морщинках у висков и вокруг закрытых глаз. Затем, досыта наглядевшись на его звериную физиономию, свирепую и хитрую, он крепче зажал подмышкой старый дождевой зонт, опять запахнул сутану на груди и пошел своей дорогой. Он повеселел и теперь думал:

«Восемь тысяч триста двадцать пять франков за прошлый год. Тысяча девятьсот шесть – за нынешний. Господин аббат Лантень, ректор духовной семинарии, задолжал десять тысяч двести тридцать один франк мяснику, а Лафоли – кредитор не очень покладистый. Господину аббату Лантеню не бывать епископом».

Он уже давно вел счет долгам семинарии и затруднениям г-на Лантеня. На днях служанка Жозефина сообщила ему, что мясник Лафоли стал огрызаться и поговаривал, что пошлет гербовый лист в семинарию и архиепископу. И семена мелкими шажками, аббат Гитрель бормотал:

– Не бывать господину Лантеню епископом. Он честный человек, но плохой управитель. А епархией надо управлять. Боссюэ именно так и высказывается в надгробном слове принцу Конде.

И он не без удовольствия представил себе страшное лицо мясника Лафоли.

## IX

А г-н Бержере перечел мысли Марка Аврелия.<sup>[48]</sup> Муж Фаустины<sup>[49]</sup> вызывал в нем симпатию. Однако он нашел в этой книжке такое неверное чувство природы, такое плохое знание физики, такое презрение к Харитам, что не мог в свое удовольствие насладиться ее благородством. Затем он принялся за повестушки Увилля<sup>[50]</sup> и Этрапеля,<sup>[51]</sup> за «Кимвал» Деперье,<sup>[52]</sup> «Утра» Шольера<sup>[53]</sup> и «Беседы после ужина» Гильома Буше.<sup>[54]</sup> Это чтение оказалось ему больше по вкусу. Он признал, что в его положении оно самое подходящее, а значит, оно назидательно и может дать его сердцу ясную умиротворенность и небесную сладость. И он воздал должное этим повествователям, которые, – от древнего Милета, где была рассказана история о лоханке, довольнойязычной Бургундии, тихой Турени и тучной Нормандии, – учили людей радостному смеху и располагали озлобленные сердца к снисхождению и веселости.

«Эти повествователи, при чтении которых хмурятся брови строгих моралистов, сами превосходные моралисты и достойны похвалы и любви за то, что так приятно, простым, естественным и человеческим образом разрешают неурядицы, которые люди, в припадке гордыни и ненависти, стараются пресечь убийством и кровопролитием. О милетские повествователи, о изящный Петроний! О мой Ноэль дю Файль, – воскликнул он, – о предшественники Жана Лафонтена!<sup>[55]</sup> Хоть вас и принято называть озорниками, но были ли когда апостолы мудрее и лучше вас? О благодетели, вы научили нас подлинному знанию жизни, снисходительному презрению к людям!»

И г-н Бержере укрепился в мысли, что гордость есть первопричина наших несчастий, что мы – обезьяны в платьях и с серьезным видом применяем понятие чести и добродетели там, где это смешно; что папа Бонифаций VIII был мудр, не считая нужным делать событие из житейской мелочи; что г-жа Бержере и г-н Ру так же не заслуживают ни похвалы, ни порицания, как чета шимпанзе. Однако он мыслил здраво и не старался скрыть от себя то близкое родство, какое связывало его с этими Двумя человекообразными обезьянами. Но он считал себя мыслящим шимпанзе. И гордился этим. Ибо глупость находит себе лазейку и в душу мудреца.

Г-н Бержере погрешил против мудрости еще в одном пункте. Он не сумел согласовать свое поведение со своими принципами. Конечно, он не

буйствовал. Но он не знал снисхождения. Он вел себя совсем не как ученик тех милетских, латинских, флорентийских, галльских рассказчиков, которых одобрял за их веселую философию, приноровленную к жалкому человечеству, Он не упрекал жену. Он не сказал ей ни слова, не бросил ни взгляда. За столом, сидя напротив, он ухитрялся ее не видеть. А когда случайно они сталкивались где-нибудь дома, у бедной женщины было такое ощущение, будто она невидимка.

Он не замечал ее, относился к ней как к чему-то постороннему или вовсе не существующему. Он исключил ее из своего внешнего и внутреннего мира, упразднил. Дома, в будничной суете семейной жизни, он не видел, не слышал, не воспринимал ее. Г-жа Бержере была женщиной сварливой и грубой. Но она была женщиной домашней и по-своему добродетельной. Она была человеческим существом. Она страдала, что не может разразиться бранью, угрожающими жестами, пронзительными криками. Она страдала, не чувствуя себя больше хозяйкой в собственном доме, душой кухни, матерью семейства, матроной. Страдала оттого, что она как бы вовсе не существует, что ее не считают за человека и даже за вещь. Она доходила до того, что за обедом завидовала стулу или тарелке, потому что их по крайней мере замечали. Если бы г-н Бержере вдруг замахнулся на нее столовым ножом, она издала бы радостный крик, хотя была не из храбрых. Но быть пустым местом, чем-то неощутимым, невидимым – для нее, при ее примитивной тяжеловесной натуре, было невыносимо. Однообразная и непрерывная пытка, которой подвергал ее муж, была такой жестокой, что г-жа Бержере кусала носовой платок, удерживая рыдания. И г-н Бержере, спокойный, чуждый любви и ненависти, запершись у себя в кабинете и приводя в порядок картотеку к своему «Virgilius nauticus»,<sup>[56]</sup> слышал, как жена шумно сморкалась в столовой. Этот «Virgilius» был ему заказан старинной книжной фирмой, которая блюла традиции.

Каждый вечер г-жу Бержере так и тянуло пойти за мужем в кабинет, ставший также его спальней и недоступным убежищем недоступной мысли, попросить прощения или изругать его на чем свет стоит, изрезать ему лицо кухонным ножом или вонзить этот нож себе в грудь, – все равно, лишь бы обратить на себя его внимание, снова сделаться для него живым существом; это стало для нее такой же насущной потребностью, как вода, хлеб, воздух и соль, но именно в этом ей было отказано.

Она по-прежнему презирала г-на Бержере: это чувство было наследственным и семейным; оно перешло к ней от отца и сидело у нее в крови. Она не была бы Пуйи, племянницей Пуйи, составителя «Словаря», если бы признала некоторого рода равенство между собой и мужем. Она

презирала его потому, что была Пуйи, а он – Бержере, а вовсе не потому, что она его обманула. У нее было достаточно здравого смысла, так что она не преувеличивала своего превосходства в этом отношении и считала порочащим г-на Бержере разве лишь то, что он не убил г-на Ру. Ее презрение было прочно и крепко. Оно не могло ни увеличиться, ни уменьшиться. Но ненависти к мужу она не чувствовала. Еще недавно она что ни день приставала к нему со всякими мелочами, сердила его, упрекала за небрежность костюма или за неумение себя держать, а затем передавала бесконечные сплетни о соседях, рассказывала истории, в которых пошлость сочеталась с глупостью и даже злость и недоброжелательство были мелкими. Пары тщеславия распирала эту заплывшую жиром душу, но она не выделяла ни ужасных отрав, ни редкостных ядов.

Госпожа Бержере была создана, чтобы жить в добром согласии с мужем, которого она обманывала бы и угнетала, попросту от избытка жизненных соков, уступая естественным требованиям своего организма. Она была общительна от щедрости своей пышной плоти и скудости внутреннего содержания. Теперь, когда г-н Бержере неожиданно ушел из ее жизни, она скучала по нем, как скучает по отсутствующему мужу хорошая жена. Кроме того, этот хилый человек, которого она привыкла считать незначительным и ничтожным, но вполне удобным мужем, теперь пугал ее. Оттого что г-н Бержере смотрел на нее как на пустое место, она сама стала сомневаться в реальности своего существования. Она чувствовала, что у нее внутри образуется пустота. Это новое, незнакомое состояние, которое она не сумела бы определить, близкое к одиночеству и смерти, нагоняло на нее страх и уныние.

Госпожа Бержере была впечатлительна к воздействиям внешнего мира, поддавалась влиянию места и времени, и потому по вечерам на нее нападала тяжелая тоска. Лежа одна в постели, она с ужасом глядела на ивовый манекен, на который в течение многих лет накалывала платье; во дни славного и безмятежного существования он стоял в кабинете г-на Бержере, красуясь своим внушительным, хотя и безголовым торсом, а теперь, покривившийся, искалеченный, устало жался к зеркальному шкафу, прячась в тени тёмно-красной репсовой портьеры. Бочар Ланфан нашел его у себя на дворе среди лоханок с водой, где плавали пробки. Он принес его г-же Бержере, а она не посмела водворить обратно в кабинет этот пострадавший, скособочившийся манекен, ставший жертвой символической мести, и вынуждена была приютить его в супружеской спальне, где он навевал ей суеверную мысль о «порче», о связи ее собственной судьбы с судьбою ее ивового двойника.



Она страдала. Как-то утром, проснувшись и глядя на смятые прутья манекена, к которым через неплотно задернутую занавеску пробивались бледные лучи скупого солнца, она пожалела себя, решила, что ни в чем не виновата, и пришла к убеждению, что г-н Бержере жесток. Она возмутилась. Не могла же она, Амели Пуйи, страдать по вине какого-то там Бержере! Мысленно она посоветовалась с духом своего отца и укрепилась в сознании, что нельзя быть несчастной из-за такого ничтожества, как г-н Бержере. В чувстве гордости она нашла утешение. В этот день она с интересом занялась своим туалетом. «Что бы там ни случилось, – постаралась она убедить себя, – а меня не убьют, и ничто не потеряно».

Был как раз приемный день г-жи ЛETERЬЕ, всеми уважаемой супруги ректора. Г-жа Бержере решила навестить г-жу ЛETERЬЕ, и там, в голубой гостиной, обменявшись обычными любезностями с хозяйкой и г-жой Компаньон, супругой профессора математики, она глубоко вздохнула, но то был вздох воительницы, а не жертвы.

И пока обе университетские дамы еще воспринимали этот вздох, г-жа Бержере прибавила:

– В жизни немало причин для огорчений, в особенности если натура у тебя не такая, чтоб легко со всем мириться. Вы счастливая женщина, госпожа ЛETERЬЕ! И вы тоже, госпожа Компаньон!..

И сдержанная, скромная и застенчивая г-жа Бержере ничего не прибавила, несмотря на любопытные взгляды, устремленные на нее. Но этого было достаточно, обе дамы поняли, что дома ей живется плохо, что она обижена. В городе шушукались о настойчивом ухаживании г-на Ру. С этого дня г-жа ЛETERЬЕ положила конец клевете; она утверждала, что г-н Ру – добропорядочный молодой человек. А о г-же Бержере говорила со слезой в голосе и во взоре:

– Бедняжка, она так несчастна и так симпатична.

Спустя полтора месяца во всех гостиных составилось определенное мнение, и это мнение было в пользу г-жи Бержере. Г-на Бержере, не ходившего по гостям, объявили плохим человеком. Его подозревали в скрытом разврате и тайных пороках. А г-н Мазюр, его друг и приятель по букинистическому углу, его коллега по «академии Пайо», уверял, что собственными глазами видел, как он однажды вечером вошел в кафе на улице Эбдомадь, пользовавшееся дурной репутацией.

Итак, общество вынесло свой приговор г-ну Бержере, в народе же о нем шла другая слава. От примитивного символического рисунка, нацарапанного когда-то на стене его дома, остались лишь полустертые линии. Но изображения подобного же рода появились по всему городу, и

куда бы ни шел г-н Бержере – в университет, на городской вал или в лавку Пайо, а уж где-нибудь на стене, среди циничных, непристойных и пошлых изречений, он обязательно натыкался на свой портрет с объяснительной надписью, нарисованный карандашом или углем или нацарапанный перочинным ножом.

Эти графито не волновали и не сердили г-на Бержере, его беспокоило только их число, возраставшее с каждым днем. Один красовался на белой стене молочной Губо, на улице Тентельри, другой – на желтом фасаде рекомендательной конторы Денизо, на площади св. Экзюпера, еще один – на стене театра, под планом зрительного зала у второй кассы; и на углу Яблочной улицы и площади Старого рынка, и на службах особняка Ниверов, примыкающего к особняку де Громансов, и на университете, против квартиры педея, и на заборе, окружающем сад префектуры. И каждое утро г-н Бержере находил все новые. Он заметил, что рисунки сделаны не одной и той же рукой. На одних человек был изображен совсем примитивно, другие были более совершенны, однако и они не претендовали ни на индивидуальное сходство, ни на трудное искусство портрета. Но везде недостатки рисунка восполнялись объяснительной надписью. И все эти произведения народного творчества изображали г-на Бержере с рогами. Он заметил, что рога росли то из голого черепа, то из цилиндра.

«Две школы!» – решил он.

Но грубость оскорбляла его душу, и потому он страдал.

Господин Вормс-Клавлен оставил к завтраку своего старого приятеля Жоржа Фремона, инспектора изящных искусств, объезжавшего департамент. В ту пору, когда они знавали друг друга на Монмартре, в мастерских художников, Вормс-Клавлен был еще очень молод, а Фремон – все еще молод. У них были совершенно разные взгляды, и они ни в чем не сходились: Фремон любил споры, Вормс-Клавлен лишь терпел их; Фремон был многоречив и горяч, Вормс-Клавлен отступал перед горячностью и говорил мало. Они подружились, затем жизнь разлучила их. Но каждый раз они встречались как старые приятели и с удовольствием пикировались. Жорж Фремон, уже постаревший, занимал хорошее положение, был в чинах, раздобыл, но еще сохранил остатки прежнего пыла. В это утро, сидя за столом между г-жой Вормс-Клавлен, облаченной в пеньюар, и г-ном Вормс-Клавленом, облаченным в домашний пиджак он рассказывал хозяйке, что нашел в музее на чердаке среди старого хлама запыленное деревянное изображение, изумительное по тонкой выразительности, в типично французском стиле, – миниатюрную св. Екатерину, одетую горожанкой XV века и такую благоразумную и благонравную с виду, что ему хотелось плакать, когда он сдувал с нее пыль. Префект спросил, статуэтка ли это, или же картина. Жорж Фремон, который относился к нему с ласковым презрением, мягко ответил:

– Ворме, не старайся понять то, что я говорю твоей жене! Ты совершенно неспособен воспринимать красоту в какой бы то ни было форме! Красота линий и благородство мыслей тебе недоступны.

Господин Вормс-Клавлен пожал плечами:

– Замолчи, коммунары!

Жорж Фремон действительно был в свое время коммунаром. Он был парижанин, сын владельца мебельной мастерской из предместья Сент-Антуан, учился в Академии художеств и в двадцатилетнем возрасте, во время прусского нашествия, вступил добровольцем в корпус вольных стрелков, который не был послан в дело. Фремон не простил Трошю<sup>[57]</sup> такого пренебрежения. Во время капитуляции он оказался в числе наиболее горячих и вместе с другими кричал, что Париж предали. Он был неглуп и разумел под этим, что Париж плохо защищали, а это, несомненно, так и было. Он стоял за войну не на жизнь, а на смерть. Когда была провозглашена Коммуна, он присоединился к Коммуне. По предложению

одного прежнего рабочего его отца, гражданина Шарлье, делегированного в Академию художеств, он был назначен заместителем директора Луврского музея. Должность эта не оплачивалась. Свои обязанности он исполнял всегда в сапогах, в тирольской шляпе, украшенной петушиным пером, и с патронами вокруг пояса. Полотна были скатаны в первые же дни осады, упакованы в ящики и отправлены на склад, где он их затем так и не отыскал. Ему ничего не оставалось, как покуривать трубку в залах музея, превращенных в караульные помещения, и часами беседовать с солдатами национальной гвардии, жалуясь на Баденге, которого он обвинял в измене народу за то, что тот сдуру вздумал промыть картины Рубенса, от чего потускнели краски. Обвинял он его на основании газетной заметки и со слов г-на Вите.<sup>[58]</sup> Солдаты слушали, сидя на скамьях, не выпуская ружей из рук, и пили литр за литром, так как было жарко; но когда версальцы ворвались в Париж через разобранные ворота Пуэн-дю-Жур и перестрелка стала приближаться к Тюильри, Жорж Фремон, к ужасу своему, увидел, что национальные гвардейцы катят прямо в галерею Аполлона бочки с керосином. Он с трудом уговорил их не облить керосином и не поджигать деревянной отделки, угостил их вином и выпроводил. После их ухода он вместе со сторожами-бонапартистами скатил опасные в пожарном отношении бочки с лестницы и спустил их к самой Сене. Это дошло до сведения полковника федератов, и тот, заподозрив Фремона в измене делу народа, отдал приказ его расстрелять. Но версальцы приближались, и Фремон благополучно скрылся, братски объединившись со своими конвоирами в дыму охваченного пожаром Тюильри: Через день на него поступил донос версальцам, и военный суд стал его разыскивать как участника восстания против законного правительства. В законности версальского правительства сомневаться не приходилось: заступив 4 сентября 1870 года место империи, оно приняло и сохранило законные формы предшествующего правительства, а Коммуна, которой так и не удалось установить телеграфную связь, без чего никакое правительство не может быть узаконено, разгромленная и подавленная, погибла в беззаконии. Кроме того, Коммуна родилась из восстания, поднятого в дни вражеского нашествия, и правительство Версаля не могло простить ей происхождения, напоминавшего ему его собственное. Поэтому капитан армии-победительницы, занятый расстрелом инсургентов Луврского квартала, приказал разыскать подлежащего расстрелу Жоржа Фремона, который в течение двух недель скрывался вместе с гражданином Шарлье, членом Коммуны, где-то на чердаке в квартале Бастилии, а затем покинул Париж под видом огородника, переодевшись в блузу и шагая за телегой с

кнутом в руке. Военный совет, заседавший в Версале, приговорил его к смерти, а он меж тем зарабатывал себе на жизнь в Лондоне, составляя для богатого любителя из Сити каталог полного собрания рисунков Роуландсона.<sup>[59]</sup> Умом, трудолюбием, честностью он завоевал известность и уважение в художественных кругах Англии. Он страстно любил искусство, а политика его не привлекала. Он оставался коммунаром из чувства порядочности, ибо считал позорным покинуть своих побежденных друзей. Но одевался он элегантно и знался с аристократами. Он много работал и умел извлекать пользу из работы. Его «Словарь монограмм» создал ему репутацию и принес некоторую сумму денег. Когда были устранены, по предложению доброго Гамбетты, последние остатки гражданской распри и была провозглашена амнистия, в Булони высадился джентльмен, гордый, веселый, симпатичный, несколько утомленный работой, с проседью, но еще молодой, в изящном дорожном костюме; за ним несли чемодан, полный рисунков и рукописей. Жорж Фремон скромно устроился на Монмартре и скоро завязал приятельские отношения с художниками. Но работа, на которую он прилично жил в Англия, во Франции приносила лишь удовлетворение его самолюбию. Гамбетта дал ему место инспектора музеев. Фремон исполнял свои обязанности с большой добросовестностью и умением. Он был искренним и тонким ценителем искусства. Та же нервная впечатлительность, которая в юности заставляла его страдать при виде ран родины, а в зрелые годы не позволяла пройти равнодушно мимо социальных бедствий, влекла его к утонченным проявлениям человеческой души, к изысканным формам, к красивым линиям, к героической осанке. В то же время он был патриотом даже в искусстве, не смеялся над бургундской школой, был предан политике чувства и верил, что Франция даст миру свободу и справедливость.

– Старый коммунары! – повторил префект Вормс-Клавлен.

– Замолчи, Вормс! У тебя мелкая душа и обыденный ум. Сам по себе ты ровно ничего не значишь. Но ты – представитель народа, как теперь говорят. Господи боже мой! Сколько жертв загублено за целый век гражданских войн, и все для того, чтобы господин Вормс-Клавлен сделался префектом республики. Вормс, ты не дорос до префектов империи.

– Подумаешь! – возразил г-н Вормс-Клавлен, – я презираю империю! Во-первых, она привела нас на край гибели, а затем, я – государственный чиновник. Но в конце концов сейчас, как и при империи, делают вино, сеют хлеб; как и при империи, играют на бирже; как и при империи, пьют, едят и занимаются любовью. В сущности жизнь осталась той же. Как же могут

измениться система управления и правительство! Есть, конечно, оттенки, понимаешь? У нас больше свободы, даже слишком ее много. У нас больше спокойствия. Мы пользуемся благами режима, отвечающего желаниям народа. Мы сами распоряжаемся своей судьбой, разумеется в пределах возможного. Все социальные силы находятся в равновесии, приблизительно, конечно. Ну, скажи, что тут можно изменить? Пожалуй, только цвет почтовых марок... Да и то... – как говаривал старик Монтессюи. Нет, друг мой, во Франции нечего менять, разве только французов. Я, конечно, прогрессист. Надо на словах звать вперед, хотя бы для того, чтобы иметь возможность не идти вперед на деле. «Вперед, вперед!» Ведь марсельеза для того и была нужна, чтобы не идти на фронт!..

Жорж Фремон посмотрел на префекта внимательно, с ласковым, глубоким и искренним презрением.

– Так, выходит, все превосходно, Вормс, а?

– Не делай из меня дурака. Ничто не превосходно, но все держится, одно другим подтыкается, одно другое подпирает. Вроде вон той стены в доме дядюшки Мюло, что видна отсюда, позади оранжереи. Она вся расселась, потрескалась, перекосилась. Вот уж тридцать лет этот болван Катрбарб, епархиальный архитектор, останавливается перед домом Дядюшки Мюло и, задрвав нос, заложив руки за спину и расставив ноги, нарекает: «Не понимаю, как она держится».

Сорванцы школьники, возвращаясь домой, передразнивают его и кричат хриплым голосом: «Не понимаю, как она держится». Он оглядывается, никого не видит, смотрит на мостовую, будто на его голос отозвалось эхо из-под земли, и уходит, повторяя: «Право, не понимаю, как она держится!» А держится она потому, что ее не трогают, потому, что дядюшка Мюло не зовет ни каменщиков, ни архитекторов, а главное, потому что он не идет за советом к господину Катрбарбу. Вот и мы держимся, потому что до сих пор держались. Держимся, старый утопист, потому что не проводим налоговой реформы и не пересматриваем конституции.

– Иначе говоря, все держится обманом и несправедливостью, – возразил Жорж Фремон. – Мы погрязли в позоре. Наши министры финансов на поводу у банкиров-космополитов. А что всего печальнее, – Франция, та Франция, которая некогда была освободительницей народов, теперь только и знает, что вступается в Европе за права венценосцев. Мы позволили, не посмея даже пикнуть, уничтожить на Востоке триста тысяч христиан, а ведь, согласно традициям, мы считались их высокими и почетными покровителями. Отступившись от интересов всего

человечества, мы отступились от своих интересов. Ты видишь, что в водах Крита республика барахтается среди других держав, словно цесарка среди морских чаек. Вот куда завела нас дружественная нация! Префект запротестовал:

– Фремон, не отзывайся плохо о союзе с Россией. Это лучшая избирательная реклама.

– Союз с Россией! – подхватил Фремон, размахивая вилкой. – Я встретил его зарождение радужными надеждами. Увы! Разве я знал, что с самого начала он втянет нас в партию султана-убийцы и приведет на Крит метать мелинитовые бомбы в христиан, виновных лишь в том, что их долгое время притесняли? Но мы старались угодить не России, а крупным банкам, вложившим свои капиталы в турецкие бумаги. И мы видели, с каким великодушным энтузиазмом приветствовал еврейский финансовый мир славную победу при Канее.<sup>[60]</sup>

– Вот она, – воскликнул префект, – вот она, политика чувства! А ты должен бы знать, куда она ведет. Не пойму. какого чорта дались тебе греки. Они неинтересны.

– Ты прав, Вормс, – сказал инспектор изящных искусств. – Ты совершенно прав. Греки теперь уже неинтересны. Они бедны. У них только и есть, что их синее море, лиловые холмы и обломки мрамора. Гиметский<sup>[61]</sup> мед не котируется на бирже. А вот турки, те действительно достойны внимания финансовой Европы. У них есть и беспорядок и средства. Они платят плохо, но платят много. С ними можно делать дела.

Курсы на бирже растут. Все в порядке. Вот где источник вдохновения нашей внешней политики!

Господин Вормс-Клавлен быстро перебил его и посмотрел на него с упреком.

– Брось, Жорж, не лукавь, ты отлично знаешь, что внешней политики у нас нет и быть не может.

## XI

– Кажется, назначено на завтра, – сказал г-н де Термондр, входя в лавку Пайо.

Все поняли, что дело идет о казни Лекера, приказчика из мясной, 27 ноября приговоренного к смерти за убийство вдовы Усье. Молодым преступником интересовался весь город. Судья Рокенкур, человек светский и дамский угодник, любезно проводил в тюрьму г-жу Дели он и г-жу де Громанси через решетчатое окошечко в дверях камеры показал им приговоренного, игравшего в карты с тюремным сторожем. Со своей стороны смотритель тюрьмы Оссиан Коло, удостоенный академического отличия, охотно угощал своим смертником господ журналистов и видных граждан. В свое время г-н Оссиан Коло авторитетно высказался в печати по различным вопросам Уложения о наказаниях. Он гордился своей тюрьмой, устроенной согласно новейшим правилам, и не пренебрегал популярностью. Посетители с любопытством смотрели на Лекера, так как знали об отношениях, существовавших между этим двадцатилетним юношей и восьмидесятилетней вдовой, ставшей впоследствии его жертвой. Такое чудовищное зверство повергло всех в изумление. Между тем тюремный священник, аббат Табари, со слезами на глазах рассказывал, что бедное дитя проявляет назидательнейшие чувства раскаяния и благочестия. А Лекер с утра до ночи три месяца подряд дулся в карты с тюремщиками и выкрикивал очки на их жаргоне, ибо был из одного с ними мира. Его плечи опустились, бычий загривок высох, и шея казалась теперь тощей и непомерно длинной. Все были того мнения, что он уже исчерпал всю меру отвращения, сострадания и любопытства своих сограждан и что пора с ним кончать.

– Завтра, в шесть часов... Я узнал от самого Сюркуфа, – прибавил г-н де Термондр. – Гильотина уже в пути.

– Давно пора, – сказал доктор Форнероль. – Вот уж три ночи на перекрестке дез'Эве собирается толпа; были несчастные случаи. Сын Жюльенов упал с дерева вниз головой и проломил себе череп. Боюсь, что не удастся его спасти.

– А осужденному уже сейчас никто, даже сам президент республики, не в силах даровать жизнь, – продолжал доктор. – Этот юноша, До ареста такой силач и здоровяк, – теперь в последнем градусе чахотки.

– Вы были у него в камере? – спросил Пайо.



– Был несколько раз. Я даже оказывал ему медицинскую помощь по просьбе Оссиана Коло, который чрезвычайно заботится о физическом и нравственном состоянии своих подопечных.

– Он филантроп, – сказал г-н де Термондр. – И надо признать, наша городская тюрьма учреждение в своем роде замечательное: белые, чистые камеры расходятся лучами от центрального наблюдательного пункта и так хитро расположены, что арестованные всегда на виду, а им самим никого не видно. Ничего не скажешь, все хорошо обдуманно, по последним правилам науки, идет в ногу с прогрессом. В прошлом году, путешествуя по Марокко, я видел в Танжере, во дворе, осененном тутовым деревом, жалкое глинобитное строение, перед которым клевал носом огромный негр в лохмотьях. Он был солдат и потому был вооружен палкой. В узкие окна высывались чьи-то смуглые руки и протягивали корзинки из ивовых прутьев. Это арестанты из окон тюрьмы за медяки предлагали прохожим произведения своего кропотливого труда. Гортанными голосами на все лады повторяли они мольбы и жалобы, которые прерывались руганью и яростными воплями. Они были заперты все вместе в одной большой камере и спорили из-за окон, потому что каждому хотелось просунуть свою корзинку. Слишком шумная ссора разбудила чернокожего солдата, и он палкой загнал назад, за тюремные стены, корзины и протянутые руки. Но вскоре появились новые руки, тоже коричневые с голубой татуировкой, как и те, что были раньше. Я любопытствовал взглянуть через щель старой деревянной двери внутрь тюрьмы. В полутьме я увидел толпу оборванцев, растянувшихся на голой земле, бронзовые тела в красных лохмотьях, суровые лица, тюрбаны, почтенные бороды; проворные негры, скаля зубы, быстро плели корзинки. Тут и там торчали опухшие ноги, обернутые грязными тряпками, плохо прикрывавшими язвы и нарывы. И видно было, даже слышно было, как все кишит паразитами. По временам раздавался смех. Черная курица долбила клювом загаженную землю. Солдат не торопил меня, интересуясь только тем, чтоб не упустить момент, когда я буду уходить, и протянуть руку. И мне вспомнился директор нашей образцовой департаментской тюрьмы. Я подумал: «Если бы. господин Оссиан Коло побывал в Танжере, он заклеил бы такое попустительство, такое отвратительное попустительство».

– В картине, нарисованной вами, – отозвался г-н Бержере, – я узнаю варварство. Оно менее жестоко, чем цивилизация. Мусульманские узники страдают лишь от равнодушия да иногда от жестокости своих стражей. Но им по крайней мере нечего бояться филантропов. Они живут сносно, потому что их не держат в одиночках. Всякая тюрьма – блаженство но

сравнению с одиночным заключением, изобретенным нашими учеными криминалистами.

Цивилизованным народам присуще особое зверство, которое по своей жестокости превосходит все измышления варваров. Криминалист гораздо злее дикаря. Филантропы придумывают пытки, неизвестные ни в Персии, ни в Китае. Персидский палач морит узников голодом. И только филантроп додумался до того, чтоб морить их одиночеством. Вот это и есть настоящая пытка одиночным заключением. Нет равной ей по длительности и жестокости. К счастью, страдалец сходит с ума и перестает сознавать свои муки. Пытаются найти оправдание этой мерзости, ссылаясь на необходимость убереечь осужденного от развращающего влияния ему подобных и лишить его возможности совершать безнравственные или преступные деяния. Те, кто так рассуждают, слишком глупы, и только поэтому их нельзя считать лицемерами.

– Вы правы, – сказал г-н Мазюр, – но не будем несправедливы к своему времени. Революция, сумевшая провести судебную реформу, значительно улучшила участь заключенных: при старом режиме тюрьмы были но большей части смрадными и темными.

– Правда, люди во все времена были злы и жестоки и всегда находили наслаждение в издевательствах над несчастными, – ответил г-н Бержере. – Но по крайней мере до появления филантропов людей мучили просто из чувства ненависти и мести, а не ради исправления их нравственности.

– Вы забываете, – возразил г-н Мазюр, – что средние века знали филантропию, и притом самого гнусного свойства – филантропию духовную. Ведь именно так должны быть названы деяния, в которых выразился дух святой инквизиции. Ее суд посылал еретиков на костер из чистого милосердия, ибо, принося в жертву тело, он, по его словам, спасал душу.

– Нет, суд святой инквизиции этого не говорил и не думал, – сказал г-н Бержере. – Виктор Гюго действительно полагал, что Торкемада<sup>[62]</sup> сжигал людей для их же блага, дабы ценой кратких страданий обеспечить им вечное блаженство. На этой мысли он построил драму, сверкающую антитезами. Но мысль эта не выдерживает критики. И я не понимаю, как могли вы, столь ученый человек, так сказать вскормленный древними рукописями, поддаться на вымыслы поэта. На самом деле суд святой инквизиции, предавая еретика светской власти, отсекал больной член у церкви из страха, как бы зараза не распространилась на все тело. А этот самый отсеченный член предоставлялся воле божьей! Вот он, дух инквизиции. Он ужасен, но не романтичен. А то, что вы справедливо

называете духовной филантропией, проявлялось в наказании, которое святая инквизиция налагала на заблудших овец, вернувшихся в лоно церкви. Она милостиво осуждала их на вечное заточение и замуровывала ради спасения их душ. Но я имел в виду только гражданские тюрьмы, какими они были в средние века и в новое время, до царствования Людовика Четырнадцатого.

– Это правда, что одиночное заключение не дало ожидаемых результатов, благоприятных для нравственного возрождения осужденных, – согласился г-н де Термондр.

– Одиночное заключение, – заметил доктор Форнероль, – часто вызывает довольно серьезные психические заболевания. Следует, правда, заметить, что преступники предрасположены к подобного рода расстройством. Ныне признано, что преступники – это дегенераты. Благодаря любезности господина Оссиана Коло я имел возможность осмотреть интересующего нас убийцу, этого самого Лекера. Я нашел у него физические недостатки. Так, например, у него неправильные зубы. Отсюда я заключаю, что он не вполне ответственен за свои поступки.

– Однако у одной из сестер Митридата был двойной ряд зубов на каждой челюсти, а брат считал ее красавицей, – заметил г-н Бержере. – Он так нежно любил ее, что, спасаясь от преследований Лукулла,<sup>[63]</sup> послал к ней палача с удавкой, дабы она не попалась живой в руки римлян. Она оправдала доброе мнение Митридата,<sup>[64]</sup> – приняла удавку с радостным спокойствием и сказала: «Я благодарна моему брату царю за то, что среди одолевающих его забот он вспомнил о моей чести». Из этого примера видно, что неправильные зубы не мешают героизму.

– У интересующего нас Лекера, – продолжал доктор, – есть и другие особенности, которые несомненно представляют интерес с точки зрения науки. Как у многих прирожденных преступников, у него притуплена чувствительность. Я имел возможность освидетельствовать Лекера. У него все тело покрыто татуировкой. И приходится только удивляться извращенной фантазии, руководившей выбором сцен и предметов, изображенных у него на коже.

– Вот как? – сказал г-н де Термондр.

– Хорошо бы, – продолжал доктор Форнероль, – препарировать по всем правилам искусства кожу этого субъекта и отдать в наш музей. Но мне хотелось обратить ваше внимание не на характер татуировки, а на ее изобилие и распределение по телу. Некоторые моменты операции должны были причинить такую боль, какую вряд ли мог бы вынести человек с

нормальной чувствительностью.

– Пойдите! Я вас перебую, – сказал г-н де Термондр. – По всему видно, что вы незнакомы с моим другом Жилли. Однако он довольно известен. Жилли еще очень молодым, не то в тысяча восемьсот восемьдесят пятом, не то в тысяча восемьсот восемьдесят шестом году, совершил кругосветное путешествие со своим другом лордом Торнбриджем, на яхте «Old friend».<sup>[65]</sup> Жилли клянется, что за все время плавания, которое бывало и благоприятным и неблагоприятным, ни лорд Торнбридж, ни он носа не показали на палубу, а просидели все время в рубке, где пили шампанское в компании старого марсового, матроса королевского флота, обучившегося искусству татуировки у одного тасманского вождя. За время путешествия этот старик марсовой покрыл обоих друзей татуировкой с головы до пят. И Жилли вернулся во Францию весь разрисованный лисьей охотой, содержащей не менее трехсот восьмидесяти фигур – мужчин, женщин, лошадей и собак. Он с удовольствием их показывает добрым друзьям в ресторане за ужином. Правда, я не знаю, притуплена ли чувствительность у моего друга Жилли, но уверяю вас, что он славный малый, порядочный человек и неспособен...

– Но, доктор, если вы полагаете, что существуют прирожденные преступники, и если вам кажется, что мясник Лекер, как вы говорите, не вполне ответственен за свои поступки, так как от природы предрасположен к преступлению, неужели вы считаете справедливым, чтобы его гильотинировали? – спросил г-н Бержере.

Доктор пожал плечами:

– А что же прикажете с ним делать?

– Разумеется, – сказал г-н Бержере, – судьба этого субъекта меня мало трогает. Но я вообще против смертной казни.

– Объясните, Бержере, почему? – воскликнул архивариус Мазюр, питавший восторженные чувства к девяносто третьему году и террору и приписывавший гильотине какую-то таинственную силу и нравственную красоту. – Я стою за отмену смертной казни для уголовных преступников и за ее восстановление для политических.

Во время этой речи, исполненной гражданских чувств, вошел г-н Жорж Фремон, инспектор изящных искусств, которому г-н де Термондр назначил свидание в лавке Пайо. Они собирались вместе осмотреть «дом королевы Маргариты». Г-н Бержере с некоторым трепетом поглядел на г-на Фремона и почувствовал себя совсем ничтожным рядом с такой значительной особой. Мыслей он никогда не боялся, а перед людьми робел.

Господин де Термондр не захватил ключа от «дома королевы

Маргариты». Он послал за ним Леона, а пока пригласил Жоржа Фремона в букинистический угол.

– Господин Бержере, – сказал он, – расхваливал сейчас тюрьмы старого режима.

– Вовсе нет, – возразил г-н Бержере, слегка смутившись, – вовсе нет. Это были смрадные ямы. Несчастные узники томились там в оковах. Но они жили не в одиночестве – у них были товарищи по темнице. И горожане, знатные господа и дамы, посещали их. Посещение узников считалось одним из семи подвигов милосердия. Теперь же никому и в голову не придет посещать узников. Впрочем, по тюремным правилам этой не разрешается.

– Совершенно верно, – заметил г-н де Термондр, – прежде существовал обычай посещать заключенных. В моем собрании эстампов есть гравюра Авраама Босса,<sup>[66]</sup> где изображен дворянин в шляпе с перьями и дама в парчовом платье с венецианским кружевом, пришедшие в темницу, которая кишит оборванцами в жалких лохмотьях. Этот эстамп принадлежит к серии из семи досок, имеющейся у меня в старинных оттисках. Вообще же надо остерегаться подделок, так как позднее понаделали отпечатков с изношенных досок.

– Посещение узников, – сказал г-н Жорж Фремон, – обычный сюжет христианского искусства в Италии, Фландрии и Франции. Так, его с поразительной правдивостью использовал Делла-Роббиа<sup>[67]</sup> на фризе из цветной терракоты, который великолепной полосой опоясывает госпиталь в Пистойе. Вы бывали в Пистойе, господин Бержере?

Преподавателю латыни пришлось сознаться, что он не бывал в Италии.

Господин де Термондр, стоявший у дверей, тронул г-на Фремона за локоть:

– Господин Фремон, взгляните на площадь справа от церкви. Вон идет самая красивая женщина в нашем городе.

– Это госпожа де Громанс, – сказал г-н Бержере. – Она очаровательна.

– Она дает обильную пищу для толков, – заметил г-н Мазюр. – Госпожа де Громанс – урожденная Шапон. Ее отец был стряпчим и самым бессовестным ростовщиком в департаменте. А она по типу настоящая аристократка.

– Так называемый аристократический тип, – отозвался Жорж Фремон, – понятие чисто отвлеченное. В нем не более реальных признаков породы, чем в классическом типе вакханки или музы. Я неоднократно

задавал себе вопрос, как создался тип аристократки, как он запечатлелся в народном сознании. Мне кажется, он сложился из весьма разнообразных реальных элементов. Среди этих элементов я указал бы на актрис драмы и комедии старого театра Жимназ и Французского театра, а также на актрис с Крымского бульвара и из Порт-Сен-Мартен, в течение столетия показавших французам, большим ценителям театральных представлений, множество принцесс и светских дам. Надо также отметить натурщиц, с которых наши современные художники писали королей и герцогинь для своих исторических и жанровых картин. Не следует пренебрегать и более новым, не столь распространенным, но весьма действенным влиянием живых манекенов из ателье известных портных, красивых девушек, высоких и стройных, умеющих носить туалеты. А ведь все эти актрисы, натурщицы, продавщицы – плебейского происхождения. Отсюда я заключаю, что тип аристократки сложился исключительно из прелестей простолюдинок. В таком случае нечего удивляться аристократическому типу госпожи де Громанс, урожденной Шапон. Она изящна, и – что большая редкость в ваших городах с неровными мостовыми и грязными тротуарами – у нее хорошая походка. Но мне сдается, что зад у нее несколько плосковатый. Это большой недостаток.

Господин Бержере, подняв нос от XXXVIII тома «Всеобщей истории путешествий», с восхищением взглянул на этого парижанина с пламенно-рыжей бородой, который холодно и строго разбирал пленительную красоту и обаятельные формы г-жи де Громанс.

– Теперь, когда мне известен ваш вкус, я познакомлю вас с моей тетушкой Куртре, – сказал г-н де Термондр. – Она могучего телосложения и умещается только в одно определенное фамильное кресло, которое уже в течение трех веков гостеприимно раскрывает свои непомерно широкие объятия всем старым дамам семьи Куртре-Майян. Физиономия тетушки соответствует всему прочему и, надеюсь, вам понравится. Красная, как помидор, с белокурыми, довольно эффектными усами, которым она предоставляет расти по их воле. Да, тетушка Куртре – не того типа, как ваши актрисы, натурщицы и манекенщицы!

– Заранее чувствую, что ваша почтенная тетушка придется мне по вкусу, – ответил г-н Фремон.

– В прежние времена образ жизни провинциальных дворян не отличался от образа жизни нынешних крупных фермеров. Значит, и по виду они были схожи, – заметил г-н Мазюр.

– Несомненно, порода мельчает, – сказал доктор Форнероль.

– Вы полагаете? – спросил г-н Фремон. – Но в пятнадцатом –

шестнадцатом веках цвет итальянского и французского рыцарства составляли, видимо, люди в достаточной мере тщедушные. Княжеские доспехи конца средних веков и эпохи Возрождения, мастерски выкованные, с искусной насечкой и чеканным узором, – так узки в плечах и талии, что человеку нашего времени было бы в них тесно. Почти все они изготовлены для маленьких и щуплых мужчин. Действительно, если судить по французским портретам пятнадцатого века и по миниатюрам Жеана Фуке, [68] народ тогда был довольно низкорослый.

Вернулся Леон с ключом. Он был очень возбужден.

– Назначено на завтра, – сказал он хозяину. – Дейблер с подручными прибыли поездом три тридцать. Они пошли в гостиницу «Париж», но там их не пустили. Они остановились в харчевне «Голубая лошадь», у холма Дюрок, в харчевне убийц.

– Ах, да, – воскликнул г-н Фремон, – я слышал сегодня утром в префектуре, что у вас в городе назначена смертная казнь. Все об этом говорят.

– В провинции так мало развлечений, – заметил г-н де Термондр.

– Но подобное развлечение омерзительно, – сказал г-н Бержере. – Убивают тайком, прикрываясь законом. Зачем же делать то, чего стыдишься? Президент Греви, человек очень умный, никогда не прибегал к смертной казни и тем самым фактически отменил ее. Как жаль, что его преемники не последовали такому примеру! Страх перед казнью не обеспечивает личной безопасности в современном обществе. Смертная казнь отменена у многих народов Европы, и преступлений там не больше, чем в странах, где еще сохранилась эта недостойная мера. Да и там, где она существует, она тоже мало-помалу слабеет и отживает свой век. Она потеряла значение и силу. Это бесцельная гнусность. Она пережила себя. Идеи права и справедливости, во имя которых некогда торжественно рубили головы, теперь поколеблены новой моралью, порожденной естественными науками. И так как смертная казнь сама собой явно отмирает, то разумнее всего не мешать ей в этом.

– Вы правы, – сказал г-н Фремон, – применение смертной казни недопустимо с тех пор, как с ней перестали связывать идею искупления, – идею чисто богословскую.

– Президент наверное даровал бы помилованье, – заметил с важностью Леон, – да преступление-то уж слишком ужасное.

– Право помилования было одним из атрибутов божественной власти, – сказал г-н Бержере. – Король пользовался им лишь потому, что сотоял выше человеческого правосудия, как представитель бога на земле.

Это право, перейдя от короля к президенту республики, утратило свой основной характер и свою законность. Теперь оно – проявление власти, лишенное почвы, судебное действие, стоящее вне правосудия, а не над ним; оно допускает произвольную юрисдикцию, неизвестную законодателю. Обычай сам по себе хорош, ибо спасает несчастных. Но имейте в виду, что он потерял свой первоначальный смысл. Милосердие короля было как бы милосердием самого бога. Но можно ли вообразить себе господина Феликса Фора с атрибутами божества? Господин Тьер,<sup>[69]</sup> который не считал себя помазанником божьим и действительно не был коронован в Реймсе, сложил с себя право помилования и передал его комиссии, получившей полномочие быть милосердной за него.

– Ну, ее милосердие было слабовато, – сказал г-н Фремон.

В лавку вошел молоденький солдат и спросил «Образцовый письмовник».

– В современной цивилизации сохранились еще остатки варварства, – заметил г-н Бержере. – Например, мы внушим к себе отвращение людям ближайшего будущего хотя бы из-за нашего военно-юридического устава. Этот устав создан был для отрядов вооруженных разбойников, опустошавших Европу в восемнадцатом веке. Он был сохранен республикой девяносто второго года и упорядочен в первой половине нашего века. Армию заменили народом, а устав изменить позабыли. Всегда что-нибудь упустишь! Жестокие законы, созданные для головорезов, применяют теперь к запуганным крестьянским парням и к городской молодежи, с которыми легко можно справиться кротостью. И находят, что это в порядке вещей!

– Я вас не понимаю, – возразил г-н де Термондр. – Наш военный кодекс, подготовленный, помнится мне, в эпоху Реставрации, применяется только со времени Второй империи. Около тысяча восемьсот семьдесят пятого года он был пересмотрен и согласован с новой организацией армии. Как же вы утверждаете, будто он составлен для армии старого режима?

– Утверждаю с полным основанием, – ответил г-н Бержере, – потому что этот кодекс – простая компиляция приказов, касающихся армий Людовика Четырнадцатого и Людовика Пятнадцатого. Известно, что представляли собой эти армии: всякий сброд, вербовщиков и завербованных, каторжников военной службы, разбитых на отряды, которые покупались молодыми дворянами, подчас еще детьми. Повиновение поддерживалось постоянной угрозой смерти. Все изменилось; солдаты монархии и двух империй уступили место огромной и смиренной национальной гвардии. Мятежей и насилий опасаться не



приходится, и все же этой благодушной толпе крестьян и ремесленников, неудачно переряженных солдатами, за малейшую провинность угрожает смерть. Такой контраст между мирными нравами и жестокими законами почти смешон. Для всякого, кто подумает, станет ясно, как нелепо и отвратительно карать смертью за проступки, с которыми легко можно справиться обыкновенными полицейскими мерами.

– Но, – сказал г-н де Термондр, – современные солдаты тоже вооружены, как и прежние. И надо же дать какую-то возможность кучке безоружных офицеров держать в страхе и повиновении такое множество людей, снабженных ружьями и патронами. В этом все дело.

– Верить в необходимость наказаний и полагать, будто чем они суровее, тем действительнее, – давний предрассудок, – сказал г-н Бержере. – Смертная казнь за оскорбление действием начальника – пережиток того времени, когда в жилах офицеров и солдат текла разная кровь. Та же система наказаний сохранилась в армии республики. Брендамур, став генералом в тысяча семьсот девяносто втором году, вздумал применить обычаи старого режима на пользу революции и отважно расстреливал волонтеров. Но Брендамур, став республиканским генералом, по крайней мере воевал и храбро сражался. Победить было необходимо. Дело шло не о жизни отдельных людей, а о спасении родины.

– Генералы Второго года, – отозвался г-н Мазюр, – карали с неумолимой строгостью главным образом воровство. В Северной армии одного стрелка, подменившего новую шляпу своей старой, прогнали сквозь строй. Двух барабанщиков, из которых старшему было восемнадцать лет, расстреляли перед выстроенными отрядами за кражу грошовых украшений у старой крестьянки. Век был героический.

– В войсках республики, – сказал г-н Бержере, – расстреливали ежедневно не одних мародеров. Расстреливали также и непокорных. И с этими прославленными солдатами обращались, как с каторжниками, с той только разницей, что их почти не кормили. Правда, с ними подчас нелегко было справиться. Доказательство тому – триста канониров тридцать третьей полубригады, в Четвертом году, в Мантуе, наведших орудия на своих генералов и потребовавших выдачи жалованья. С такими молодцами шутки были плохи. За отсутствием неприятеля они могли приколоть дюжину собственных начальников. Ничего не поделаешь, героический темперамент! Но Дюмане пока еще – не герой. Мирное время не рождает героев. Сержанту Бриду в мирной казарме опасаться нечего. Тем не менее ему приятно сознавать, что стоит нижнему чину поднять на него руку, и тот немедленно будет расстрелян под барабанный бой. При наших нравах да

еще в мирное время это совершенно нелепо. Но никто об этом не думает. Правда, смертная казнь по приговору военного суда применяется только в Алжире, а во Франции по возможности избегают подобных воинственных и музыкальных торжеств. Понимают, что они произведут неблагоприятное впечатление. Это – молчаливое осуждение военному уставу.

– Смотрите, как бы не поколебать дисциплину, – заметил г-н де Термондр.

– Если бы вы видели новобранцев, – ответил г-н Бержере, – когда они гуськом входят во двор казармы, вам бы и в голову не пришло угрожать смертью этим овечьим душам, дабы держать их в повиновении. Все их унылые помыслы направлены только на одно – дотянуть, как они говорят, «свои три года», и сержант Бриду был бы тронут до слез их жалким смирением, если бы не испытывал потребности внушать им трепет, упиваться собственной властью. А ведь сержант Бриду от природы не злее остальных людей. Но он раб и деспот, а потому он вдвойне развращен, – впрочем, я не уверен, что сам Марк Аврелий, будь он унтером, не стал бы измываться над новобранцами. Как бы то ни было, самой обычной муштры достаточно, чтобы поддерживать расчетливую покорность, эту наипервейшую добродетель солдата в мирное время. Нашим военным уставам с их смертной казнью давно уже место в музее ужасов рядом с ключами Бастилии и клещами инквизиции.

– Ко всему, что касается армии, следует подходить с величайшей осмотрительностью, – сказал г-н де Термондр. – Армия – наш оплот и надежда. А также школа долга. Где, как не в армии, встретишь самоотверженность и верность?

– В самом деле, – сказал г-н Бержере, – люди считают своей первейшей общественной обязанностью научиться по всем правилам убивать себе подобных, и слава, добытая кровопролитием, признается у цивилизованных народов выше всякой другой. Но в конце концов, хотя человек неисправимо злобен и зловреден, количество зла во вселенной не так уж велико. Земля – это капля грязи в мировом пространстве, а солнце – сгусток быстро догорающего газа.

– Я вижу, – сказал г-н Фремон, – что вы не позитивист. Вы слишком легко отзываетесь о великом фетише.

– А что это такое: великий фетиш? – спросил г-н де Термондр.

– Вы знаете, – ответил г-н Фремон, – что позитивисты считают человека животным, которому свойственна потребность поклонения. О пост Конт был очень внимателен к нуждам этого поклоняющегося животного и после долгого размышления придумал для него фетиш. Но он

избрал землю, а не бога. И не потому, что был атеистом. Наоборот, он признавал довольно вероятным существование созидательного начала. Только он полагал, что бога слишком трудно познать. И его ученики, люди очень религиозные, почитают умерших, почитают полезных людей, женщину и великий фетиш – землю. Это видно из того, что его адепты строят планы счастья человечества и приспособливают нашу планету к требованиям людского благополучия.

– Дела им хватит, – сказал г-н Бержере, – по всему заметно, что они оптимисты. Они даже чересчур оптимисты, и направление их ума меня поражает. Трудно постигнуть, как люди разумные и здравомыслящие могут питать надежду, что когда-нибудь сделают сносным существование на этом крошечном шарике, который неловко вращается вокруг желтого и уже наполовину потухшего солнца, предоставляя нам, как каким-то паразитам, копошиться на заплесневелой земной поверхности. Великий фетиш совсем не кажется мне достойным поклонения.

Доктор Форнероль наклонился к уху г-на де Термондра:

– Должно быть, у Бержере какие-то особые неприятности, а то не стал бы он так отзываться о вселенной. Неестественно видеть все в черном свете.

– Несомненно, – согласился г-н де Термондр.

## XII

Темные ветви городских вязов еще только одевались легкой, как пыль, бледной зеленью. Но во фруктовых садах, по склону холма, увенчанного старыми стенами, уже цвели деревья, поднимая навстречу ясному трепетному дню, улыбавшемуся им между двумя порывами ветра, белые шары и розовые пирамиды своих вершин. А вдали текла река, многоводная от весенних дождей, и, сверкая наготю, касалась своими округлыми боками рядов тонких тополей, окаймляющих ее ложе, – сладострастная, неукротимая, плодоносная, вечная, подлинная богиня, как и во времена римской Галлии, когда лодочники приносили ей в дар медные монеты и воздвигали по обету в ее честь перед храмами Венеры и Августа священные стелы, с грубо высеченным изображением лодки и весел. Повсюду в открытой солнцу долине робкая и очаровательная юность года трепетала на древней земле. А г-н Бержере одиноко брел неровными, медленными шагами под вязами городского сада. Он бред, и смутно было у него на душе, полной противоречий и колебаний, старой, как земля, молодой, как цвет яблонь, освободившейся от мыслей и осаждаемой толпою неясных образов, разочарованной и томимой желанием, нежной, невинной, порочной, печальной, влачащей свою усталость и гонящейся за иллюзиями и надеждами, не зная ни имени их, ни формы, ни облика.

Подойдя к скамейке, где он часто сживал летом в час, когда на деревьях смолкают птицы, и где он не раз проводил досуги с аббатом Лантенем под красавцем вязом, свидетелем их степенных бесед, г-н Бержере увидел, что на зеленой спинке скамьи чьей-то неискusной рукой начертаны мелом несколько слов. Он встревожился, боясь прочитать свое имя, вошедшее уже в обиход у городских озорников. Но скоро он успокоился. Это была эротическая меморативная надпись, в которой Нарцис возвещал в лаконичной, простой, но грубой и непристойной форме о наслаждениях, которые он вкусил на этой самой скамье, – надо думать, под покровом снисходительной ночи, – в объятиях Эрнестины.

Господин Бержере, собиравшийся было занять свое обычное место, где он высказал столько благородных и приятных мыслей и куда столько раз на его призыв спускались стыдливые Грации, счел неуместным для порядочного человека публично восседать в близком соседстве с подобным непристойным памятником, посвященным Венере бульварной. Он отвернулся от мемориальной скамьи и продолжал свой путь, размышляя:

«О суетное желание славы! Мы хотим жить в памяти потомства. Только люди чересчур благовоспитанные и принадлежащие к светскому кругу не стремятся поведать миру свою любовь и радость, свою ненависть и печали. Для Нарциса победа над Эрнестиной не будет полной, если об этом не узнает вселенная. Так некогда Фидий начертал любимое имя на большом пальце ноги Юпитера Олимпийского. О потребность души общаться с миром, излиться вовне! «Сегодня, на этой скамейке, Нарцис...»

«И тем не менее, – продолжал думать г-н Бержере, – скрытность – необходимая добродетель культурного человека и краеугольный камень общества. Нам так же нужно таить свои мысли, как носить одежду. Человек, говорящий все, что он думает, и так, как думает, настолько же немислим в городе, как и человек голый. Если бы я, например, описал у Пайо – хотя там разговор ведется достаточно вольный – картины, которые рисуются сейчас моему воображению, мысли, которые мелькают у меня в голове, подобно веренице ведьм, влетающих верхом на помеле в печную трубу; если бы я рассказал как иногда вдруг воображаю себе госпожу де Громанс, какие рискованные позы я ей придаю, какой у меня возникает образ, невероятный, прихотливый, призрачный, странный, чудовищный, извращенный и непристойный, в тысячу раз более соблазнительный и порочный, чем знаменитое изображение на северном портале церкви святого Экзюпера, которое ввел в сцену Страшного суда замечательный мастер, заглянувший в отдушину ада и узревший само Сладострастие; если бы я в точности рассказал все мои причудливые грезы – сочли бы, что я одержим постыдной манией. А между тем я ведь отлично знаю, что человек я порядочный, склонный от природы к честным помыслам, наученный жизнью и размышлением соблюдать во всем меру, скромный, всецело посвятивший себя тихим радостям интеллекта, что я враг всяких излишеств и ненавижу порок, как уродство».

Господин Бержере продолжал прогулку, предаваясь таким странным мыслям, но тут он увидел аббата Лантеня, ректора духовной семинарии, беседующего с аббатом Табари, тюремным священником. Г-н Табари извивался всем своим длинным телом, увенчанным остроконечной головкой, и старался подкрепить костлявой рукою убедительность своих слов, а г-н Лантень, высоко подняв голову, выпятив грудь, держа тревник подмышкой, слушал его, глядя вдаль, сжав губы, и его обрюзгшее лицо, на котором никогда не играла улыбка, хранило серьезность.

Господин Лантень ответил на поклон г-на Бержере и приветливо сказал ему:

– Господин Бержере, присоединяйтесь к нам: господин Табари не

боится неверующих.

Но тюремный священник, поглощенный своей мыслью, продолжал речь:

– Всякий на моем месте растрогался бы, увидев то, что видел я. Этот юноша утешил нас своим искренним раскаянием, простым и правдивым выражением подлинно христианских чувств. Его поведение, взгляд, слова, все его существо говорили о кротости, скромности, полной покорности воле божией. Он являл собою самое отрадное зрелище и самый назидательный пример. Его благочестивое настроение, пробуждение веры, слишком долго дремавшей в его сердце, высокий порыв к всепрощающему богу – вот благословенные плоды моих поучений.

Старик расчувствовался с откровенностью наивных, суетных и пустых людей. Искренняя печаль увлажнила его большие глаза навывкате и вздернутый красный носик. Повздыхав с минуту, он продолжал, обращаясь на этот раз к г-ну Бержере:

– Поверьте, при исполнении моих тяжелых обязанностей я часто натываюсь на тернии. Но зато – какие плоды! За свою долгую жизнь я не раз вырывал несчастных из когтей дьявола, уже готового завладеть ими. Но ни один из грешников, которых я напутствовал, не утешил меня в свои последние минуты так, как юноша Лекер...

– Как? – воскликнул г-н Бержере. – Вы говорите об убийце вдовы Усье? Да ведь всем известно...

Он собирался уже сказать, что несчастного Лекера, еле живого от страха, чуть не на руках втащили на эшафот, как в один голос утверждали все, кто присутствовал при казни. Но он спохватился и не стал огорчать старика, который продолжал:

– Само собой, он не произносил длинных речей и не изливал во всеуслышание своих чувств. Но если б вы только слышали вздохи и восклицания, которыми он выражал свое раскаяние! Во время скорбного пути из тюрьмы к месту искупления, когда я обратился к памяти его матери и напомнил ему день первого причастия, он залился слезами.

– Уж конечно, вдова Усье умирала не столь благочестиво, – заметил г-н Бержере.

Господин Табари, услышав эти слова, обвел горизонт своими выпученными глазами. Он имел привычку искать не в себе, а вокруг себя разрешения метафизических проблем. И когда он размышлял за обедом, его старая служанка, сбитая с толку его видом, говорила: «Вы ищете пробку от бутылки, господин аббат? Она у вас в руке».

И вот блуждающие взоры г-на Табари наткнулись на дородного

бородача в костюме велосипедиста, проходившего по городскому саду. Это был Эзеб Буле, главный редактор радикальной газеты «Маяк». Тотчас же, быстро распрощавшись с ректором семинарии и преподавателем филологического факультета, г-н Табари во всю прыть пустился вдогонку за журналистом, поздоровался с ним и, весь красный от волнения, вытащил из кармана пачку смятых бумаг и передал их г-ну Буле дрожащими руками. Это были поправки и дополнения, касающиеся последних минут юноши Лекера. Добрый пастырь на склоне своей скромной жизни и незаметного апостольского служения стал падох на рекламу и жаден на интервью и газетные статьи.

Увидя, как бедный старик с птичьей головкой протянул свою мазню радикальному журналисту, г-н Лантень сдержал улыбку.

– Видите, – сказал он г-ну Бержере, – вредное веяние века испортило даже этого старца, приближающегося к могиле долгим путем заслуг и добродетелей: этот человек, смиренный и скромный во всем остальном, одержим суетным стремлением я славе. Он во что бы то ни стало желает печататься, хотя бы и в антиклерикальном листке.

Но г-н Лантень спохватился, смутясь тем, что выдал врагу одного из своих собратьев.

– Положим, беда не велика. Это смешно, вот и все.

Потом он замолк и погрузился в обычную свою печаль.



Господин Лантень со свойственным ему даром подчинять себе окружающих увлек г-на Бержере на их всегдашнюю скамью. Равнодушно относясь к обыденным житейским явлениям, в которых внешний мир предстает перед большинством людей, он не соблаговолил заметить

эротическую надпись о Нарцисе и Эрнестине, начертанную мелом, крупной прописью, на спинке скамьи, и, садясь, в невозмутимом спокойствии духа заслонил своей широкой спиной треть этого эпитафического памятника. Г-н Бержере сел рядышком, предварительно положив развернутую газету на спинку скамьи, дабы прикрыть наиболее, по его мнению, выразительную часть текста, а такой он считал сказуемое, «которое указывает – как говорят составители грамматик – на действие, приписываемое подлежащему». Но, сам того не заметив, он подменил одну надпись другой. Действительно, жирный заголовок газетной заметки возвещал о происшествии, обычном для нашей парламентской жизни со времени достопамятной победы демократических установлений. Времена года сменяли друг друга, часы шли своей чередой, и с той же астрономической точностью весной опять наступил сезон скандалов. За этот месяц много депутатов подверглось судебному преследованию. И развернутая г-ном Бержере газета жирными буквами сообщала следующее известие: «Сенатор в Мазасе.<sup>[70]</sup> Арест г-на Лапра-Теле». Хотя в самом этом факте не было ничего особенного и хотя он просто свидетельствовал о правильном функционировании судебных властей, тем не менее г-н Бержере рассудил, что, пожалуй, будет несколько нарочитой дерзостью выставить его напоказ на скамье в тени вязов, в городском саду, где почтенный г-н Лапра-Теле не раз наслаждался почетом, который демократические государства умеют оказывать своим лучшим гражданам. Ведь здесь, в этом самом городском саду, на трибуне, покрытой тёмно-красным бархатом, под торжественной сенью знамен, г-н Лапра-Теле, восседавший по правую руку от президента республики в дни больших Местных и национальных празднеств, во время различных торжественных церемоний, прославлял в своих речах благодеяния существующего строя и все же призывал к терпению преданное и трудолюбивое население. Лапра-Теле, приверженец республики с первых ее дней, уже двадцать пять лет был могущественным и уважаемым вождем умеренных у себя в департаменте. Годы и парламентские труды убелили сединой его голову, и он возвышался в своем родном городе подобно дубу, украшенному трехцветной перевязью. Он обогатил своих друзей и разорил врагов. Его публично чествовали. Он был величествен и кроток. Ежегодно, во время раздачи наград, он рассказывал школьникам о своей бедности. И он мог называть себя бедняком без всякого для себя ущерба, потому что ему все равно никто не верил и никто не сомневался в его богатстве. Всем были известны источники его благосостояния, те тысячи каналов, по которым он, со свойственным ему умом и трудолюбием, выкачивал деньги. Каждый



знал, сколько доходов принесли ему все предприятия, которые опирались на его влияние в политическом мире, все концессии, которым он обеспечил свою поддержку в парламенте. Это был крупный парламентский делец, превосходно ораторствующий финансист. Его друзья не хуже, а может быть и лучше его врагов знали, сколько он заработал на Панаме и на всем прочем. Этот рассудительный, умеренный, старавшийся не очень докучать Фортуне великий пращур трудолюбивой и разумной демократии уже десять лет тому назад, при первом дуновении бури, отказался от крупных дел; он даже покинул дворец Бурбонов и удалился в Люксембургский дворец,<sup>[71]</sup> этот высший совет общин Франции, где ценили его благоразумие и преданность республике. Тут он был силен и не на виду. Он выступал только в недрах комиссий. Но там он проявлял свои блестящие дарования, давно оцененные по заслугам королями космополитического финансового капитала. Он мужественно защищал налоговую систему, введенную революцией и основанную, как известно, на принципах справедливости и свободы. Он поддерживал капитал с горячностью, особенно трогательной в устах старого борца. Даже «присоединившиеся» уважали Лапра-Теле за уравновешенность и подлинный консерватизм, чтили в нем ангела-хранителя частной собственности.

– У него благородные чувства, – говорил г-н де Термондр, – как жаль, что над ним и поныне тяготеет бремя тяжелого прошлого.

Но у Лапра-Теле были враги, яростно стремившиеся его погубить. «Я заслужил их ненависть, – говорил он с достоинством, – защищая вверенные мне интересы».

Враги преследовали его даже под священной сенью сената, где перенесенные несчастья окружали его еще большим ореолом, ибо он знал трудные времена и однажды уже был на волосок от гибели по вине некоего министра юстиции, не участвовавшего в сделке и неосторожно выдавшего Лапра-Теле удивленному правосудию. Ни почтенный г-н Лапра-Теле, ни судебный следователь, ни адвокат, ни республиканский прокурор, ни даже сам министр юстиции не могли себе уяснить причин этих несуразных и внезапных перебоев в работе государственной машины, не могли предвидеть эти катастрофы, смехотворные, как падение ярмарочных подмостков, и ужасные, как следствие того, что оратор называл «имманентным правосудием», – катастрофы, при которых время от времени летели со своих мест наиболее уважаемые законодатели обеих палат. И с тех пор г-н Лапра-Теле пребывал в грустном недоумении. Он не считал ниже своего достоинства дать объяснения суду. Многочисленные и влиятельные связи спасли его. Дело было прекращено, что г-н Лапра-Теле

принял сначала скромно, а затем использовал в официальном мире как положительное доказательство своей непорочности. «Господь бог милосерд, – говорила г-жа Лапра-Теле, женщина очень набожная, – он ниспослал мужу столь желанное прекращение дела». Известно, что в благодарность за это г-жа Лапра-Теле повесила по обету в часовне св. Антония мраморную дощечку с такой надписью: «За нечаянную радость от благочестивой супруги».



Прекращение дела успокоило политических друзей Лапра-Теле – толпу отставных министров и крупных чиновников, переживших вместе с ними героическую пору и изобильные годы, знававших и семь коров тощих и семь коров тучных. Прекращение дела было как бы охранной грамотой. Во всяком случае все так думали. И в течение нескольких лет могли так думать. Как вдруг, по несчастной случайности, по одной из тех роковых неожиданностей, которые возникают тайно и коварно, как будто внезапная течь в гонимом ветром судне, всеми почитаемый старейший слуга демократии, кузнец собственного благополучия, тот, кого префект Вормс-Клавлен еще накануне, на собрании избирателей, ставил в пример всему департаменту, поборник порядка и прогресса, защитник капитала и общества, закадычный друг бывших министров и бывших президентов, сенатор Лапра-Теле, тот самый «с прекращенным делом», без всякого политического или морального основания был отправлен в тюрьму вместе

с целым рядом других членов парламента. И местная газета жирным шрифтом возвещала: «Сенатор в Мазасе. Арест г-на Лапра-Теле». Г-н Бержере, по свойственной ему деликатности, перевернул газету, висевшую на спинке скамьи.

– Значит, – обратился к нему г-н Лантень недовольным тоном, – вы находите прекрасным то, что происходит у нас на глазах, и полагаете, что так оно и должно быть?

– Что вы имеете в виду? – спросил г-н Бержере. – Парламентские скандалы? Но, прежде всего, что такое скандал? Скандал обычно результат разоблачения какого-либо тайного действия. Ибо люди действуют тайком только тогда, когда поступают противно установившимся обычаям и принятым взглядам. Поэтому общественные скандалы явление общее для всех времен и народов, однако их тем больше, чем менее правительство способно скрывать свои действия. Ясно, что правительственные тайны плохо сохраняются при демократическом строе. Большое число сообщников и ярая межпартийная рознь, наоборот, способствуют разоблачениям, которые делаются иногда втихомолку, иногда с шумом. Кроме того надо принять во внимание, что парламентская система умножает злоупотребления, ибо расширяет круг людей, которые могут их совершать. Фуке,<sup>[72]</sup> не стеснясь, во всю обкрадывал Людовика Четырнадцатого. В наши дни, пока грустный президент, который был избран для престижа, являл умиленным департаментам свой немой лик бородатой Минервы, – на дворец Бурбонов, как из рога изобилия, сыпались чеки. Особой беды в этом нет. Среди тех, кто управляет страной, масса людей с тощим кошельком. Рассчитывать на поголовную неподкупность значило бы предъявлять слишком большие требования к человеческой природе. И то, что урвали эти жулики, суцая безделица по сравнению с тем, что ежечасно расхищает наше честное чиновничество. Надо отметить только один пункт, самый существенный. Прежние откупщики, в том числе и наш Поке де Сент-Круа, в царствование Людовика Пятнадцатого натаскавший богатство целой провинции в тот самый особняк, где я сейчас живу в «четвертом жилье», – все эти бесстыдные грабители обирали страну и короля; но они по крайней мере не были в стачке с врагами государства. Наши же парламентские охотники за чеками, получившие их от компании Панамского канала, продают Францию иностранной державе – Капиталу. Ибо в наши дни Капитал действительно всемогущая держава, и о нем можно сказать то же, что говорили прежде о церкви, которую называли знатной иностранкой среди всех наций. Значит, депутаты, купленные Капиталом, воры и изменники. Правда, ничтожные и мелкие. Каждый в

отдельности даже жалок. Но меня пугает их быстрое размножение.

А пока что почтенный господин Лапра-Теле посажен в Мазас! Его отправили туда утром того дня, когда он должен был председательствовать в нашем городе на банкете социальной защиты. Этот арест на другой же день после вотирования закона, разрешающего возбуждать преследование против депутатов и сенаторов, поразил господина префекта Вормс-Клавлена; он назначил председателем банкета господина Делиона, честность которого общепризнана, ибо она гарантирована унаследованным богатством и сорокалетним преуспеванием в промышленности. Господин префект, скорбя о том, что самые видные лица в республике непрестанно подвергаются подозрениям, радуется в то же время благонадежности своих подопечных: они по-прежнему преданы существующему строю, несмотря на то, что его как будто нарочно стараются дискредитировать в их глазах. И действительно, господин префект отмечает, что парламентские инциденты, подобные только что происшедшему и многим предыдущим, не производят решительно никакого впечатления на трудолюбивое население его департамента. У господина префекта Вормс-Клавлена правильный взгляд на вещи. Он не преувеличивает равнодушия этих людей, которых ничем уже не удивишь. Неподражаемая толпа, без всякого волнения узнавшая из газет о взятии под стражу сенатора Лапра-Теле, с тем же глубоким спокойствием приняла бы известие о назначении его посланником при каком-нибудь европейском дворе. И можно не сомневаться, что если правосудие вернет господина Лапра-Теле высокому собранию, то на будущий год он будет заседать в бюджетной комиссии. Можно быть уверенным, что по истечении срока своих полномочий он снова найдет себе избирателей.

Аббат Лантень прервал г-на Бержере:

– Вот тут-то, вы, сударь, и коснулись самого слабого места, попали прямо в точку. Народ привыкает к безнравственности и не различает добра и зла. В этом – вся опасность. Мы видим постоянно, как обходят молчанием позорные дела. Во времена монархии и империи существовало общественное мнение. Теперь же его более нет. Наш народ, когда-то пылкий и склонный к благородным порывам, внезапно сделался неспособным ни к любви, ни к ненависти, ни к восторгу, ни к презрению.

– Я сам поражаюсь подобной перемене, – сказал г-н Бержере. – И ищу и не нахожу ей причины. В китайских сказках часто говорится о духе, уродливом и неповоротливом, но остроумном и падком на развлечения. По ночам он проникает в жилые дома, открывает, словно коробку, череп спящего, вынимает оттуда мозг, кладет вместо него другой и тихонько

закрывает череп. Его любимая потеха – ходить так из дома в дом и менять мозги. И когда на заре этот проказливый дух удаляется к себе в храм, то мандарин просыпается с мыслями куртизанки, а юная девушка – с фантазиями старого курильщика опиума. Должно быть, какой-нибудь дух вроде этого подменил французские мозги мозгами какого-то бесславного и терпеливого народа, влачащего унылое существование, разучившегося желать, равнодушного к справедливости и к несправедливости. Ведь мы теперь сами на себя не похожи.

Господин Бержере прервал свою речь и пожал плечами. Потом продолжал с тихой грустью:

– Это действие возраста и признак известной мудрости. Детству свойственно удивляться, молодости – негодовать, зрелые годы принесли нам, наконец, спокойное равнодушие, о котором мне следовало бы судить более справедливо. Наше душевное состояние обеспечивает нам внутренний и внешний мир.

– Вы так полагаете? – спросил аббат Лантень. – И не предчувствуете близких катастроф?

– Жизнь сама по себе уже катастрофа, – ответил г-н Бержере, – непрерывная катастрофа, потому что может проявляться только в неустойчивой среде, главное условие ее наличия – неустойчивость производящих ее сил. Жизнь нации, как и жизнь отдельного человека, – непрестанное разрушение, ряд сокрушительных ударов, бесконечный поток бедствий и преступлений. Наша страна, страна самая прекрасная в мире, существует, как и другие, только вечным возобновлением своих несчастий и ошибок. Жить – значит разрушать. Действовать – значит вредить. Но именно самая прекрасная в мире страна, господин аббат, действует мало и живет далеко не кипучей жизнью. Вот это-то меня и успокаивает. Я не вижу знамений в небе. Я не предвижу в близком будущем особенных и необычайных бедствий для нашей милой Франции. Вы предсказываете катастрофу, господин аббат, но скажите, пожалуйста, откуда вы ее ожидаете – изнутри или извне?

– Опасность повсюду, – ответил г-н Лантень. – А вы еще смеетесь!

– У меня нет охоты смеяться, – отозвался г-н Бержере. – Слишком мало у меня поводов для смеха в этом подлунном мире, на этом шаре, состоящем из земли и воды, обитатели которого почти все противны или смешны. Все же я полагаю, что нашему спокойствию и независимости навряд ли угрожает какой-либо могущественный сосед. Мы никому не мешаем. Мы не беспокоим вселенную. Мы сдержанны и благоразумны. Главы нашего правительства не лелеют, насколько известно, никаких

неумеренных планов, успех или неуспех которых обеспечивал бы нам могущество или привел бы нас к гибели. Мы не притязаем на мировую гегемонию. Мы стали приемлемы для Европы. Это приятная новость.

Взгляните, пожалуйста, на портреты наших государственных мужей в витрине писчебумажного магазина госпожи Фюзелье и скажите: похоже, что хоть один из них способен вызвать войну и опустошить мир? Ум у них такой же ограниченный, как и их власть. Ужасные ошибки им не по плечу. Они, слава богу, не великие люди; и мы можем спать спокойно. Впрочем, мне кажется, что Европа, хоть она и вооружена до зубов, настроена не воинственно. В войне есть своего рода благородство, а оно теперь не в моде. Втравливают в драку турок и греков. Делают на них ставки, как на петухов или на лошадей. Но сами драться не собираются. В тысяча восемьсот сороковом году Огюст Конт предсказал конец войнам. Пророчество его, конечно, не исполнилось с буквальной точностью. Но, быть может, взор этого великого человека проник в далекое будущее. Состояние войны обычно для феодальной и монархической Европы. Феодализм умер, а на прежние деспотические монархии восстали новые силы. Мир и война зависят ныне не столько от самодержавных государей, сколько от международных крупных капиталистов, властителей более державных, чем любая держава. Финансовая Европа настроена мирно. Во всяком случае можно с уверенностью сказать, что она не стремится к войне ради войны или из каких-то рыцарских побуждений. Впрочем, ее могущество бесплодно и долго не продержится, в один прекрасный день оно рухнет под натиском рабочей революции. Социалистическая Европа будет, вероятно, поборницей мира. А Европа будет социалистической, господин аббат, если только можно назвать социализмом то неизвестное, что грядет.

– Сударь, – сказал аббат Лантень, – мыслима только одна Европа – Европа христианская. Войны будут всегда. Мир на земле невозможен. Ах, если бы мы только могли вновь обрести отвагу и веру наших предков! Я воин церкви воинствующей и знаю, что битва продлится до скончания века. И, подобно Аяксу<sup>[73]</sup> вашего любимого Гомера, прошу у бога одного – даровать мне возможность сражаться при свете дня. Меня пугают не численность и не смелость врагов, но слабость и нерешительность в собственном лагере. Церковь – это воинство, и я скорблю, когда замечаю, что ему наносят урон за уроном. Меня возмущает, когда я вижу, как неверующие проникают в нашу среду и поклонники золотого тельца стремятся стать хранителями алтаря. Я терзаюсь, наблюдая борьбу, которая завязалась кругом, под прикрытием тьмы, благоприятной для трусов и

предателей. Да исполнится воля господня! Я верую в конечную победу, в то, что грех и заблуждения будут повержены в тот последний день, которому суждено стать и днем славы и справедливости.

Он встал, взгляд его был тверд. Но обрюзгшие щеки обвисли. На душе у него было тяжело. И не без причины. Вверенная ему семинария приходила в упадок. В кассе был дефицит. Мясник Лафоли требовал с него судом десять тысяч двести тридцать один франк долга, и его гордость страдала, ибо он ожидал выговора от кардинала-архиепископа. Митра, за которой он протянул мысленно руку, ускользала. Он уже видел себя сосланным куда-нибудь в бедный сельский приход. Обернувшись к г-ну Бержере, он произнес:

– Ужасающие бедствия грозят разразиться над Францией.

## XIII

Теперь г-н Бержере захаживал в кабачок. По вечерам он проводил час-другой в кафе «Комедия». Общество осуждало его. Но он – наслаждался там светом и теплом в обстановке, совсем не похожей на домашнюю, читал газеты и видел человеческие лица, глядевшие на него без злобы. Иногда он встречал там г-на Губена, своего ученика, которого после измены г-на Ру предпочитал другим. У г-на Бержере бывали такие предпочтения, ибо его эстетической душе были свойственны капризы. Он предпочитал г-на Губена, но совсем не любил его. И действительно, в г-не Губене было мало приятности: щуплый, тщедушный, скудный телом, волосами, голосом и мыслью, близорукий, в пенсне, с поджатыми губами; все в нем было мелко: и ноги и душа были у него, как у барышни. При такой наружности г-н Губен был аккуратен и педантичен. К этому крошечному созданию были прилажены огромные уши в виде мощных раструбов, единственная роскошь его мизерного организма. Г-н Губен обладал прирожденным даром – умением слушать.

Г-н Бержере разговаривал с ним за кружкой пива, под стук костяшек домино, в которое играли за соседними мраморными столиками. В одиннадцать часов учитель вставая. Ученик следовал его примеру. И они шли по безлюдной Театральной площади и по неосвещенным улицам до угрюмой улицы Тентельри.

Так шли они однажды в майскую ночь. Воздух, омытый грозovým дождем, был свеж, легок и напоен запахом земли и листьев. В темной бездне безлунного и безоблачного неба висели капельки света, почти все белые, как бриллианты, изредка красные и голубые. Г-н Бержере, подняв глаза к небу, любовался звездами. Он довольно хорошо разобрался в созвездиях. Сдвинув шляпу на затылок, запрокинув голову, он указал концом трости неопытным взорам г-на Губена на созвездие Близнецов и прошептал следующие строки:

Пусть светит над ладьей свет Близнецов двухзвездный,  
Волн ионических рев умирив грозный.  
Пусть берег Пестума...

Потом вдруг спросил:



– Знаете ли вы, господин Губен, что мы получаем из Америки известия относительно Венеры и что известия эти неблагоприятны?

Господин Губен послушно собрался отыскивать на небе Венеру. Но учитель предупредил его, что она уже скрылась.

– Это красивое светило, – сказал он, – настоящий ад, в котором нет ничего, кроме льда и пламени. Я узнал это от самого Камилла Фламариона,<sup>[74]</sup> который ежемесячно в своих великолепных статьях знакомит нас со всеми небесными новостями. Венера всегда обращена к Солнцу одной и той же стороной, как луна к Земле. Так утверждает астроном с горы Гамильтон. Судя по его словам, одно из полушарий Венеры – раскаленная пустыня, другое – безжизненные пространства льда и мрака. И на этом прекрасном утреннем и вечернем светиле царят безмолвие и смерть.

– Подумайте только! – сказал г-н Губен.

– Так во всяком случае утверждают в нынешнем году – ответил г-н Бержере. – Я же со своей стороны недалек от мысли, что жизнь, по крайней мере в том виде, в каком она проявляется на земле, иными словами – то деятельное состояние, в котором находится живая организованная материя растений и животных, есть результат какой-то ненормальности в строении нашей планеты, продукт болезни, проказа, словом что-то отвратительное, не встречающееся ни на одной здоровой и хорошо устроенной планете. Эта мысль приятна и утешительна. Ведь в конце концов грустно думать, что всеми солнцами, горящими у нас над головой, согреваются такие же жалкие планеты, как наша, и что вселенная – это бесконечное повторение страданий и уродства.

Мы ничего не можем сказать о спутниках Сириуса и Альдебарана, Альтаира и Беги, о той безвестной пыли, которая, возможно, сопровождает огненные капли, рассыпанные в небе, потому что самое ее существование еще не доказано, а лишь предполагается на основании аналогии между нашим солнцем и другими звездами вселенной. Но из того, что мы знаем о планетах нашей системы, вовсе не следует, что жизнь на них вылилась в формы, обычные для нашей Земли. Нельзя допустить, что на таких великанах, как Сатурн и Юпитер, среди царящего там хаоса есть живые существа, подобные нам. На Уране и Нептуне нет ни света, ни тепла. Значит, тот вид гниения, который мы называем органической жизнью, создаться там не мог. Невероятно также, что такая жизнь когда-либо проявилась на астероидах, словно звездный пепел рассеянных в эфире между орбитами Марса и Юпитера, ибо это не что иное, как распавшееся вещество какой-то планеты. Маленький шарик Меркурий, по-видимому,

слишком раскален, и на нем не может возникнуть эта плесень – животная и растительная жизнь. Луна – мертвый мир. А теперь нам сообщают, будто на Венере и температура не подходит для существования того, что мы называем организмами. Стало быть, нигде во всей солнечной системе невозможно было бы предположить что-либо похожее на человека, если бы не планета Марс, которая, к несчастью для нее, несколько схожа с Землей. На ней есть воздух, но в небольшом количестве, есть вода; увы, возможно, у нее есть из чего создать животных, подобных нам.

– Как будто предполагают, что на Марсе есть жители? – спросил г-н Губен.

– Кое-кому такая мысль приходила в голову, – ответил г-н Бержере. – Поверхность Марса мало известна. Кажется, будто она непрерывно меняется. Там видны каналы, но происхождение и характер их неизвестны. И мы не можем утверждать, что этот соседний с нами мир оскверняют и омрачают своим присутствием существа, подобные человеку.

Господин Бержере дошел до своего крыльца. Он остановился и сказал:

– Я хочу верить, что органическая жизнь – зло, присущее только нашей гаденькой планете. Грустно, если и в бесконечном пространстве небес все пожирают друг друга.

## XIV

Фиакр, который вез в Париж г-жу Вормс-Клавлен, проехал ворота Майо с железной решеткой, патриотически увенчанной остриями копий, мимо дремавших на солнце запыленных сторожей, взимающих подорожную пошлину, и загорелых цветочниц. Оставив вправо от себя Дорогу восстания, где низенькие, заплесневелые, кое-как покрашенные в красный цвет ресторанчики и тощие беседки смотрят на часовню св. Фердинанда, одиноко и скромно притулившуюся на краю мрачного крепостного рва, поросшего чахлой и редкой травой, фиакр въехал на улицу Шартр, унылую, вечно покрытую пылью, которую поднимают каменотесы, и очутился в чудесной тенистой аллее, ведущей в королевский парк, разбитый теперь на небольшие участки. Громоздкая карета катилась между двумя рядами платанов по мирной улице, тихой и безлюдной, по которой время от времени, согнувшись и разрезая головой воздух, проносились велосипедисты в светлых костюмах, мчавшиеся с быстротой вспугнутого зверя. Легкость и быстрота их движения, похожего на полет больших птиц, переходила почти в грацию, законченность описываемых колесами кругов – почти в красоту. Между стволами деревьев, окаймлявших дорогу, за решетками г-же Вормс-Клавлен были видны лужайки, прудики, крылечки, скромные маркизы на окнах. И в ней шевелилось еще неясное желание поселиться на старости лет в таком домике со светлыми, выбеленными стенами и черепичной крышей, виднеющимся сквозь ветви, ибо она была благоразумна и умеренна в своих потребностях и чувствовала, как в глубине души у нее зарождается пристрастие к курам и кроликам. Тут и там на широких аллеях возвышались большие здания – церкви, пансионы, богадельни, частные лечебницы, английская кирка в холодном готическом стиле с крышей щипцом, спокойные и строгие обители, с крестом на двери и почерневшим колоколом с болтающейся цепью у входа. Потом экипаж покати по ненаселенным и расположенным в низинах владениям садовников, где в конце узких песчаных дорожек поблескивали стеклами парники, где как из земли вырастали нелепые киоски работы сельских архитекторов и искусственные стволы сухих деревьев из песчаника, придуманные каким-то специалистом по украшению садов. В Ба-Нейи чувствовалась свежесть от близости реки, от испарений почвы, очень влажной так как еще недавно, по словам геологов, здесь были стоячие воды, от туманов над местом

прежних болот, где не более тысячи или полуторы тысячи лет тому назад ветер качал тростники.

Госпожа Вормс-Клавлен выглянула в окно кареты: теперь уже совсем близко. Впереди, в конце аллеи, показались остроконечные верхушки приречных тополей. Снова повеяло жизнью, разнообразной и торопливой. Высокие стены, кровли с резными коньками шли непрерывной вереницей. Фиакр остановился перед большим домом в новом стиле, построенным с очевидной расчетливостью и даже скупостью, в ущерб красоте и искусству, но все же приличным и солидным на вид, с узкими окнами, среди которых выделялись свинцовым переплетом окна домового церкви. Фасад был гладкий, без всяких украшений – традиции национального и христианского искусства были сведены к скромным слуховым оконцам в виде треугольников с трехлистными пальметками наверху. На фронте подъезда был вылеплен сосуд, изображавший фиал с кровью Христа, собранной благочестивым Иосифом Аримафейским. Это была эмблема общины сестер Крови иисусовой, основанной в 1829 году г-жой Марией Латрейль и утвержденной правительством в 1868 году по всемилостивейшему соизволению императрицы Евгении. Сестры общины Крови иисусовой посвятили себя воспитанию благородных девиц.

Госпожа Вормс-Клавлен выпорхнула из экипажа, позвонила у дверей, приоткрывшихся перед нею осторожно и осмотрительно, и прошла в приемную, а тем временем сестра-привратница передала через окошечко, что воспитанница де Клавлен вызывается на свидание с матерью. В приемной стояли только стулья с волосяными сидениями. На фоне белой стены, в нише, выкрашенная в нежные тона пресвятая дева в длинном до земли одеянии со слащавым видом раскрывала объятия. От большой, холодной, белой комнаты веяло спокойствием, порядком, строгостью, тут чувствовалось присутствие тайной власти, скрытой социальной силы.

Госпожа Вормс-Клавлен вдыхала с чувством глубокого удовлетворения воздух приемной, воздух, пропитанный сыростью и невкусным кухонным запахом. Сама она провела детство в небольших шумных школах на Монмартре, где вечно ходила перепачканная чернилами и вареньем, где наслушалась грубых слов, нагладелась на грубые жесты, и потому она особенно ценила строгое аристократическое и религиозное воспитание. Она окрестила дочь, желая получить возможность поместить ее в аристократическую монастырскую школу. Она рассудила так: «Жанна получит хорошее воспитание, и у нее будут шансы на хорошую партию». В одиннадцатилетнем возрасте Жанна была крещена, но это держалось в строгой тайне, так как тогда было радикальное правительство. С тех пор

республика и церковь сблизилась. Все же, чтобы не раздражать зря департаментских истых католиков, г-жа Вормс-Клавлен продолжала скрывать, что ее дочь воспитывается в монастыре. Тем не менее тайна была обнаружена, и в местной клерикальной газете время от времени появлялись заметки, которые правитель канцелярии префекта г-н Лакарель обводил синим карандашом и подсовывал г-ну Вормс-Клавлену, а тот читал:

«Правда ли, что безбожный иудей, поставленный франкмасонами во главе департамента, дабы воздвигнуть гонение на истинную веру и преследовать богобоязненных сынов церкви, воспитывает свою дочь в монастыре?»

Господин Вормс-Клавлен пожимал плечами и бросал газету в корзину. Через день редактор католического органа помещал новую заметку, чего и следовало ожидать по прочтении первой:

«Я обратился к префекту-иудею Вормс-Клавлену с вопросом, правда ли, что он воспитывает дочь в монастыре. Этот франкмасон, по вполне понятным причинам, ничего мне не ответил, и потому я сам отвечаю на свой вопрос. Наглый иудей окрестил дочь и поместил ее в католическое монастырское учебное заведение.

***Мадемуазель Вормс-Клавлен находится в Нейи-сюр-Сен и воспитывается сестрами общины Крови иисусовой.***

Блестящее доказательство, искренности этих господ! Воспитание мирское, безбожное, человеконенавистническое хорошо только для народа, который их кормит.

Пусть же население узнает, где искать тартюфов!»

Господин Лакарель, правитель канцелярии префекта, снова обводил заметку синим карандашом и клал раскрытую газету префекту на письменный стол, а тот снова бросал ее в корзину. Г-н Вормс-Клавлен предложил официозам не затевать полемики. И ничтожное обстоятельство было предано забвению, полному забвению, кануло в вечность, куда, после мгновенной вспышки, погружаются и позор, и слава, и доблестные, и постыдные дела правительства. Г-жа Вормс-Клавлен, уважавшая церковь

за ее силу и богатство, энергично настаивала на том, чтобы Жанну оставили на воспитании у монахинь, ибо они привьют девушке добрые правила и хорошие манеры.

Она чинно села на стул и спрятала ноги под платье, такая же скромная, как розово-голубая мадонна в нише, и, отставив пальчик, держала за ленточку коробку шоколада, привезенную Жанне.

Девочка-подросток, казавшаяся длинной в черном платье, подпоясанном красным шнуром «средних», вихрем влетела в приемную.

– Здравствуй, мама!

Г-жа Вормс-Клавлен окинула дочь взглядом, в котором была и материнская нежность и присущий ей инстинкт барышника, притянула ее к себе, осмотрела зубы, заставила выпрямиться, оглядела талию, плечи, спину и, по-видимому, осталась довольна.

– Господи, какая ты огромная! Какие руки длинные!..

– Мама, не конфузь меня. Я и так не знаю, куда их девать!

Она села, сложив на коленях красные руки. С явной скукой, но терпеливо отвечала она матери, которая расспрашивала ее о здоровье, наставляла по части гигиены, просила пить рыбий жир; потом Жанна спросила:

– А что папа?

Г-жу Вормс-Клавлен даже удивил этот вопрос о муже – и не потому, что она сама была к нему равнодушна: просто она не могла себе представить, что можно рассказать нового об этом человеке, уравновешенном, невозмутимом, всегда одинаковом, никогда не болеющем, никогда не делающем и не говорящем ничего неожиданного.

– Отец? Да что ему делается? Мы занимаем хорошее положение. Перемены нам не нужны.

Все же она подумала, что скоро придется позаботиться, как бы обеспечить мужу приличный уход от дел, то ли на должность департаментского казначея, то ли, еще лучше, в государственный совет. И ее прекрасные глаза затуманились мечтой.

Дочь спросила, о чем она думает.

– Я думаю, что мы, может быть, опять будем жить в Париже. Я люблю Париж. Но там мы будем людьми маленькими.

– А ведь папа – человек недюжинных способностей. Сестра Сент-Мари дез'Анж говорила об этом в классе. Она сказала: «Мадемуазель де Клавлен, ваш отец проявил большие административные способности».

Госпожа Вормс-Клавлен покачала головой.

– В Париже надо очень много денег, чтобы жить прилично.

– Ты, мама, любишь Париж, а я люблю деревню.

– Ты, милая, ее не знаешь.

– Но любят не только то, что знают, мама.

– Пожалуй, ты отчасти права.

– А знаешь, мама, мне выдали похвальный лист за сочинение по истории. Госпожа де Сен-Жозеф сказала, что у меня одной тема продумана по-настоящему.

– А какая была тема? – равнодушно спросила г-жа Вормс-Клавлен.

– Прагматическая санкция. <sup>[75]</sup>

На этот раз г-жа Вормс-Клавлен спросила с подлинным удивлением:

– Что же это такое?

– Это ошибка Карла Седьмого и самая серьезная из его ошибок.

Госпожа Вормс-Клавлен сочла ответ недостаточно ясным. Тем не менее она удовлетворилась, так как история средних веков ее несколько не интересовала. Но Жанна, вся поглощенная своей темой, продолжала с полной серьезностью:

– Да, мама, это была главная ошибка его царствования, вопиющее нарушение прав святого престола, преступное расхищение наследия святого Петра. К счастью, эта ошибка была исправлена Франциском Первым. Да, мама, что мы узнали!.. Гувернантка Алисы была прежде кокоткой...

Госпожа Вормс-Клавлен быстро прервала дочь и весьма решительно попросила ее не пускаться с подругами в такого рода изыскания.

– Что за глупости, Жанна! Ты сама не понимаешь, что говоришь...

Жанна замолчала с таинственным видом, потом вдруг заявила:

– Мама, я должна тебе сказать, что у меня панталоны просто ужас какие. Сама знаешь, о белье ты никогда особенно не заботилась. Я не в упрек тебе говорю: у кого слабость к белью, у кого – к платьям, у кого – к драгоценностям. У тебя, мама, слабость к драгоценностям. А у меня – к белью. А потом, у нас была молитвенная седмица. Уж как я молилась за вас с папой, да! А потом я получила отпущение грехов на четыре тысячи девятьсот тридцать семь дней.

– Я человек скорее религиозный, – сказал г-н де Термондр, – но нахожу проповедь, произнесенную отцом Оливье в Нотр-Дам, совершенно неудачной. Впрочем, это общее мнение.

– Вы, конечно, порицаете его за то, – возразил г-н Лантень, – что он толкует эту катастрофу как божье воздаяние за людскую гордыню и неверие. Вы упрекаете его за то, что он говорил, будто избранный народ понес кару за свое отступничество и непокорность. Но ведь не мог же он обойти молчанием эти ужасные события?

– Надо было, – продолжал г-н де Термондр, – по крайней мере соблюсти приличие. Присутствие главы республики, несомненно, обязывало его к некоторой сдержанности.

– Правда, – сказал г-н Лантень. – Этот монах осмелился сказать в лицо президенту и министрам республики сильным мира сего и богачам, виновникам нашего позора или их споспешникам, что Франция изменила своим извечным традициям, отвернувшись от восточных христиан, которых избивают тысячами, и недостойным образом помогая Полумесяцу в борьбе с Крестом. Он осмелился сказать, что нация, дотоле богобоязненная, изгнала истинного бога из школ и собраний. Вот что вы ставите ему в вину, господин де Термондр, – вы, один из столпов католической партии в нашем департаменте.

Господин де Термондр заявил, что он предан интересам религии, но остается при своем мнении. Прежде всего он не за греков. Он за турок или во всяком случае за мир. Многие католики совершенно равнодушны к восточным христианам. Каждый волен иметь свои убеждения, зачем же посягать на них? Никто не обязан быть грекофилом. Сам папа – не грекофил.

– Господин аббат, – прибавил он, – я вас слушаю с глубоким уважением. Но я продолжаю настаивать, что следовало говорить в более примирительном тоне в эти дни скорби, когда, казалось, возникла надежда на примирение между классами...

– И когда курсы на бирже поднялись, свидетельствуя о мудрой политике Франции и Европы на Востоке, – добавил г-н Бержере с недоброй усмешкой.

– Вот именно, – снова заговорил г-н де Термондр, – мы должны ладить с правительством, которое борется с социалистами и несомненно



способствует развитию религиозных и консервативных идей. Наш префект, господин Вормс-Клавлен, хотя он еврей и франкмасон, печется об интересах духовенства. Госпожа Вормс-Клавлен крестила свою дочь и поместила ее в монастырскую школу в Париже, где та получает превосходное воспитание. Я это знаю, потому что мадемуазель Жанна Клавлен в одном классе с моими племянницами д'Ансе. Госпожа Вормс-Клавлен – попечительница многих богоугодных заведений и, невзирая на свое происхождение и должность мужа, в настоящее время почти не скрывает своих симпатий к аристократии и религии.

– Охотно вам верю, – сказал г-н Бержере, – да и вообще можно не сомневаться, что сейчас во Франции самые рьяные заступники католицизма – богатые евреи.

– Вы совершенно правы, – подхватил г-н де Термондр. – Евреи много жертвуют на католические богоугодные заведения... Но всего возмутительнее в проповеди отца Оливье то, что он, так сказать, приписывает богу роль инициатора и вдохновителя этой катастрофы. Слушая его, можно подумать, будто господь бог сам поджег благотворительный базар. Моя тетка д'Ансе, присутствовавшая при богослужении, вернулась домой возмущенная. Не может быть, чтобы вы, господин аббат сочувствовали такого рода заблуждениям.

Господин Лантень обычно не вступал в неосмотрительные обсуждения богословских вопросов с мирянами, которых считал людьми мало осведомленными в этой области. При всей его любви к богословским спорам, он считал споры на такие скользкие темы, как сейчас, недопустимыми для лица духовного. Он промолчал, и г-ну де Термондру ответил г-н Бержере:

– Вы предпочли бы, чтобы этот монах снял с господа бога ответственность за несчастное событие, происшедшее по случайному недосмотру на одном из участков сотворенного им мира, и после катастрофы изобразил нашего создателя в виде соболезнующего, скромного и благопристойного префекта полиции.

– Не издевайтесь, – сказал г-н де Термондр. – Неужели, по-вашему, надо было говорить об искупительных жертвах и карающем ангеле? Да ведь это же старозаветные ^понятия.

– Это христианские понятия, – ответил г-н Бержере. – Господин Лантень не будет этого отрицать.

Но аббат продолжал молчать, и г-н Бержере опять заговорил:

– В одной книге, учение которой господин Лантень одобряет, в знаменитом «Рассуждении о равнодушии», есть теория искупления,

которую я вам советую прочитать. Я запомнил оттуда одну фразу и могу привести ее почти дословно: «Роковой, неумолимый закон тяготеет над нами, – говорит Ламенне, <sup>[76]</sup> – мы не в силах выйти из-под его власти; этот закон – искупление, несокрушимая ось нравственного мира, вокруг которой вращаются судьбы человечества».

– Прекрасно, – сказал г-н де Термондр. – Но неужели бог хотел покарать добродетельных женщин, занятых делами милосердия, как, например, моя кузина Куртре, мои племянницы Лане и Фелисе, тяжело пострадавшие во время пожара? Бог не может быть жестоким и несправедливым.

Господин Лантень поправил подмышкой требник и собрался было уходить. Потом раздумали, воздев правую руку, с достоинством произнес, обращаясь к г-ну де Термондру:

– Бог не был ни жесток, ни несправедлив к этим женщинам: по великому своему милосердию он сподобил их пострадать по образу жертвы непорочной ради нашего искупления. Но даже добрые христиане не сознают теперь необходимости жертвы и смысла страдания, они позабыли самые святыя таинства религии, и посему тот, кто не потерял веры в спасение, Должен ожидать еще более грозных предостережений, еще более настоятельных указаний и еще более великих знамений. Прощайте, господин де Термондр, оставляю вас с господином Бержере, – человеком хотя и неверующим, но по крайней мере не впадающим в постыдные заблуждения людей поверхностно религиозных, – он шутя разобьет ваши доводы при помощи одного только слабого разума, не согретого чувством.

Сказал и удалился решительными и твердыми шагами.

– Что с ним такое? – спросил г-н де Термондр, провожая его глазами. – Он как будто на меня рассердился. Господин Лантень – человек, достойный всяческого уважения, но характер у него тяжелый, ум его ожесточился от постоянных ссор. Он не в ладах с архиепископом, с профессорами семинарии, с доброй половиной духовенства в епархии. Сомнительно, чтобы ему дали сан епископа. И я начинаю думать, что и для церкви и для него будет лучше, если он останется на своем старом месте. При его нетерпимости он может оказаться опасным епископом. Что за странная фантазия – одобрить проповедь отца Оливье!

– Я тоже одобряю его проповедь, – отозвался г-н Бержере.

– Вы дело другое, – сказал г-н де Термондр. – Вы так для красного словца говорите. Вы человек неверующий.

– Я неверующий, но я богослов, – сказал г-н Бержере.

– А я, – сказал г-н Термондр, – верующий, но не богослов, и

возмущаюсь, когда о амвона провозглашают, что бог погубил в пламени несчастных женщин, дабы покарать за преступления нашу страну, не идущую впереди Европы. Неужели же отец Оливье воображает, что при настоящих обстоятельствах нам легко идти впереди Европы?

– Если он так думает, то ошибается, – сказал г-н Бержере, – но вы-то, вы, один из столпов католической партии в департаменте, как тут сейчас было сказано, вы должны знать, что вашему богу спокон веков, еще в библейские времена, были весьма по вкусу человеческие жертвы и запах крови всегда был ему угоден. Он наслаждался кровопролитием и ликовал при избиениях. Таков уж был у него нрав, господин де Термондр. Он жаждал крови, как господин де Громанс, который круглый год охотится на коз, куропаток, кроликов, перепелов, диких уток, фазанов, тетеревов и кукушек, смотря по сезону. Он сокрушал невинных и порочных, воинов и дев, пернатых и четвероногих. Можно думать, что он с удовольствием вкусил от дочери Иевфая.<sup>[77]</sup>

– Ошибаетесь, – сказал г-н Термондр. – Она была принесена ему в жертву, но эта жертва не была кровавой.

– Вас только успокаивают, щадя вашу чувствительность, – сказал г-н Бержере. – На самом же деле ее убили. Иегова был особенно лаком до свежего мяса. Маленький Иоас,<sup>[78]</sup> вскормленный при храме, не обольщался насчет любви этого бога к детям. Когда добрая Иосавефа примеряла ему царскую повязку, он впал в сильнейшее волнение и задал следующий тревожный вопрос:

Ужели должно мне, как дочери Иевфая,  
Склонясь на жертвенник и кровью истекая,  
Своею смертью насытить божий гнев?

В те времена Иегова был похож на своего соперника Хамоса:<sup>[79]</sup> он был кровожаден, несправедлив и жесток. Он говорил: «Ваш путь я устелю трупами, и вы познаете, что я – господь». Не обольщайтесь, господин де Термондр: перейдя от евреев к христианам, он не утратил своей суровости, и кровожадность в нем осталась. Я не отрицаю, конечно, что в наше время, на рубеже двух столетий, он, может быть, несколько смягчился и тоже вступил на скользкий путь легкомыслия и равнодушия, по которому мы все шествуем. Во всяком случае он перестал раздражаться угрозами и проклятиями. В настоящее время он возвещает о карах лишь устами девицы Денизо, которую никто не слушает. Но принципы его остались

прежними. Его нравственные убеждения в сущности не изменились.

– Вы большой враг нашей веры, – сказал г-н де Термондр.

– Ничуть, – ответил г-н Бержере. – Правда, я нахожу в ней, так сказать, трудности нравственного и умственного порядка. Я нахожу в ней даже жестокости. Но это жестокости стародавние; они сглажены веками, обтерты, обкатаны как валуны, стали почти что безобидными. Я бы скорее опасался новой религии, слишком тщательно разработанной. Такая религия, если даже она построена на самой возвышенной и милосердной морали, вначале будет действовать с суровостью и тягостным педантизмом. Я предпочитаю заржавевшую от времени нетерпимость свежоотточенному милосердию. В общем, конечно, аббат Лантень неправ, я тоже неправ, правы вы, господин де Термондр. Над этой древней иудейско-христианской религией пронеслось столько веков человеческих страстей, земной ненависти и земной любви, столько цивилизаций, примитивных и утонченных, аскетических и чувственных, безжалостных и терпимых, скромных и великолепных, земледельческих, пастушеских, военных, торговых, промышленных, олигархических, аристократических, демократических, что в конце концов все сгладилось. Религии не влияют на нравы, наоборот, они таковы, какими их сделали нравы...

Госпожа Бержере не выносила тишины и одиночества, С тех пор как г-н Бержере с ней не разговаривал и спал в кабинете, квартира стала казаться ей склепом и наводила на нее ужас. Всякий раз, возвращаясь домой, она бледнела. Будь дома дочери, они внесли бы оживление и шум, без которых жизнь была ей не в жизнь, но по случаю эпидемии тифа она отправила их осенью в Аркашон к тетке, старой деве Зоэ Бержере, где они провели зиму, а при настоящих обстоятельствах отец не собирался вызывать их оттуда. Г-жа Бержере всегда была хорошей семьянишкой, женщиной по самой натуре своей домовитой. Адюльтер она воспринимала просто как дополнение к супружеской жизни, как излучение семейного очага. Она полагала, что этого требует ее женское достоинство, и не противилась зовам своей пышной, налившейся соками плоти. Она всегда считала, что ее любовная связь с г-ном Ру не выйдет за пределы тайной домашней интрижки, благопристойного адюльтера, которым поддерживается, дополняется и укрепляется брак, почитаемый светом, освященный церковью, обеспечивающий женщине личную безопасность и общественное положение. Г-жа Бержере была супругой-христианкой. Она знала, что брак есть таинство, чьи священные и прочные последствия не могут быть уничтожены таким проступком, какой совершила она, – проступком, правда, серьезным, но все же простительным и поправимым. Не имея ясного представления о безнравственности его, она чувствовала, что согрешила спроста, без злого умысла, без страсти, которая одна придает проступку величие греха и губит виновную. Она не считала себя большой преступницей, скорее – ей просто не повезло. Неожиданные последствия этого незначительного приключения развертывались у нее на глазах с зловещей медлительностью, которая ее пугала. Она жестоко страдала, оттого что чувствовала себя в собственном доме на положении всеми покинутой грешницы, оттого что выпустила из своих рук бразды правления, оттого что из нее, так сказать, вынули хозяйственную и кухонную душу. Страдание не действовало на нее благотворно и не очищало ее. Напротив, оно повергало ее слабый дух то в ярость, то в уныние. Ежедневно, после завтрака, в третьем часу, она выходила из дому, подтянутая, разодетая, грозная, с пылающими щеками и холодным взором, и отправлялась по знакомым домам. Она навещала г-жу Торке – жену декана, г-жу Летерье – жену ректора, г-жу Оссиан-Коло – жену смотрителя

тюрьмы, г-жу Сюркуф – жену секретаря суда, – всех дам среднего буржуазного круга, ибо не была принята ни в кругу аристократов, ни в кругу крупных капиталистов.

И в каждой гостиной она изливала душу в жалобах на супруга и обвиняла его во всех смертных грехах, во всем, что изобретала ее скудная, но упорная фантазия. Она обвиняла его больше всего в том, что он разлучил ее с дочерьми, что не дает достаточно денег, а сам бежит из семьи и шатается по кафе, чего доброго еще и по притонам. Она вызывала общую симпатию, внушала нежнейшее участие. Сочувствие вокруг нее возрастало, распространялось, увеличивалось. Г-жа Делион, жена горнозаводчика, не принимавшая г-жу Бержере, как даму не своего круга, тем не менее просила ей передать, что жалеет ее от всей души и порицает отвратительное поведение г-на Бержере. Таким образом г-жа Бержере, жадная до уважения общества и доброй славы, ежедневно набиралась сил и отводила душу в гостиных. Но когда вечером она подымалась по лестнице домой, сердце ее сжималось. Она еле волочила ослабевшие ноги. Она забывала о гордости, мести, проклятиях и вздорной клевете, которую распространяла по городу. У нее появлялось искреннее желание заслужить прощение г-на Бержере, – только бы не быть одинокой. Такое желание, без всякой задней мысли, естественно возникало в ее несложной душе. Напрасное желание! Тщетная мечта! Г-н Бержере по-прежнему не замечал своей супруги.

Как-то вечером, на кухне, г-жа Бержере сказала:

– Эфеми, ступайте спросите барина, как ему приготовить яйца.

Ей пришла в голову новая мысль – предложить мужу выбор меню. Некогда, в дни своей гордой невинности, она кормила его нелюбимыми им кушаньями, вредными для нежного желудка ученого мужа. Юная Эфеми при всей своей ограниченности рассуждала здраво и решительно: она твердо возразила г-же Бержере, как делала это уже не раз в подобных случаях, что совершенно бесполезно барыне посылать за чем-нибудь к барину – раз уж он уперся, он ничего не ответит. Но хозяйка, закинув голову и полузакрыв глаза, что должно было выражать непреклонность, повторила свое приказание:

– Эфеми, делайте, что вам сказано. Ступайте и спросите барина, как ему угодно кушать яйца, да не забудьте прибавить, что они только что из-под курицы, куплены у Трекюля.

Меж тем г-н Бержере у себя в кабинете работал над своим «Virgilius nauticus», заказанным одним издателем, дабы украсить академическое издание «Энеиды», над которым уже более тридцати лет трудились три

поколения филологов и первые листы которого были уже отпечатаны. И г-н Бержере, карточка за карточкой, составлял специальный словарь. Он испытывал нечто вроде восхищения перед самим собой и выражал свою радость в следующих словах:

– Итак, я, сухопутный житель, никогда не совершавший иных плаваний, кроме как на пароходе, который летом по воскресеньям ходит вверх по реке и возит горожан к холмам Тюильер, где пьют игристое вино, – я, добропорядочный француз, видевший море только в Вийере, – я, Люсьен Бержере, толкую Virgiliya мореходца, объясняю морские термины, употреблявшиеся поэтом, тонким ученым, точным, несмотря на свою риторику, математиком, механиком и геометром, хорошо осведомленным итальянцем, которого обучали морскому делу моряки, греясь на солнце на берегу в Неаполе или в Мизенах,<sup>[80]</sup> – у которого, быть может, была собственная бирема<sup>[81]</sup> и который под ярким созвездием двух братьев Елены<sup>[82]</sup> бороздил синее море между Неаполем и Афинами. Мне это удастся благодаря совершенству моих филологических методов. И мой ученик, господин Губен, справился бы с этим не хуже меня!

Господин Бержере находил удовольствие в работе, которая, не волнуя и не возбуждая, давала пищу уму. Он испытывал истинное удовольствие, нанося на карточки аккуратные буквы, образцы и доказательства той четкости ума, какой требует филология. Он переживал не только умственное, но и чувственное удовольствие, ибо верно, что наслаждения, доступные человеку, более разнообразны, чем обычно думают. И г-н Бержере испытывал тихую отраду, когда писал:

«Сервий<sup>[83]</sup> полагает, что Virgiliy написал «Attolli malos»<sup>[84]</sup> вместо «Attolli vela»,<sup>[85]</sup> причем дает этому толкованию следующее объяснение: «cum navigarent, non est dubium quod olim erexerant arbores».<sup>[86]</sup> Асценций присоединяется к мнению Сервия, забывая или не зная, что на море в некоторых случаях на кораблях спускали мачты. Если состояние моря было таково, что мачты...»

Господин Бержере дошел до этого места своей работы, когда юная Эфеми с грохотом, сопровождавшим малейшее ее движение, вдруг распахнула дверь в кабинет и передала хозяину любезные слова барыни:

– Барыня спрашивает, как вам угодно кушать яйца.

Вместо ответа г-н Бержере спокойно попросил юную Эфеми удалиться

и продолжал писать:

«...могли подвергнуться повреждению, их спускала, вынимая из степса, в котором они были укреплены нижним концом...»

Юная Эфеми стояла в дверях, как вкопанная, и г-н Бержере дописал карточку:

«... и клали на корме – на козлы или на брус...»

– Барин, барыня еще приказала сказать, что яйца брали у Трекюля.

«Una omnes fecere pedem».<sup>[87]</sup>

Затем он положил перо, и тут же на него напала тоска. Он вдруг понял всю тщету своей работы. К несчастью, он был достаточно умен и сознавал свою посредственность, которая временами возникала перед ним на столе между чернильницей и стойкой для бумаг в образе некоего тщедушного, невзрачного существа. Он узнавал в нем себя и не обольщался. Ему хотелось бы видеть свою мысль прекраснобедрой нимфой. Она же представала перед ним в своем действительном облике, тощая и лишенная прелести. Он страдал от этого, ибо отличался тонким вкусом и ценил красоту мысли.

«Господин Бержере, – думал он, – вы преподаватель несколько выше обычного уровня, неглупый провинциал, убеленный сединами университетский работник, посредственный филолог, копающийся в никому не нужных словесных курьезах, чуждый подлинной науке о языке, доступной лишь широким, прямым и могучим умам. Господин Бержере, вы не ученый, вы неспособны ни распознать, ни привести в систему факты языка. Мишель Бреаль<sup>[88]</sup> никогда не упомянет вашего презренного имени. Вы умрете, не дождавшись славы, и людская хвала никогда не будет ласкать вам слух...»

– Барин... а барин... – настойчиво повторила юная Эфеми, – ответьте мне. У меня нет времени тут стоять. Работа не ждет. Барыня спрашивает, как вам угодно кушать яйца. Я брала их у Трекюля. Прямо из-под курицы.

Господин Бержере, не поворачивая головы, ответил служанке с безжалостной кротостью:

– Прощу вас уйти и больше никогда не входить ко мне в кабинет, пока я вас не позову.



И преподаватель филологического факультета снова предался размышлениям.

«Счастливей человек Торке, наш декан! Счастливей человек Летерье, наш ректор! Ни неверие в собственные силы, ни назойливые сомнения не омрачают их душевного спокойствия. Они походят на старика Мезанжа, любимца бессмертных богинь, который прожил три человеческих века и попал в Коллеж де Франс и в Академию, ничему не научившись с святой поры невинного своего детства, все с тем же знанием греческого языка, что и в пятнадцать лет. Он умер на исходе нашего столетия, храня в своей невместительной головке мифологические образы, воспетые поэтами Первой империи, когда он был еще в колыбели. Я так же скудоумен, как и эта важная птица с птичьими мозгами, так же беден знаниями и воображением, как декан Торке и ректор Летерье. Почему же я, никчемный жонглер, играющий словами, так больно воспринимаю свое убожество и жалкую тщету своих занятий? Быть может, это признак духовного благородства и способности отвлеченно мыслить. Да разве этот «*Virgilius nauticus*», по которому я себя сужу и осуждаю, действительно мое произведение и продукт моей мысли? Нет, это работа, навязанная мне, потому что я беден, корыстным издателем, объединившимся с хитрыми профессорами, которые якобы для освобождения французской науки из-под немецкой опеки восстанавливают отжившие и легковесные научные приемы, предлагая мне филологические забавы в духе 1820 года! Пусть вина за это падет на них, а не на меня! В погоне за заработком, а не из рвения к науке, взялся я за этого «*Virgilius nauticus*», над которым работаю уже три года и за которого получу пятьсот франков: двести пятьдесят при сдаче рукописи и двести пятьдесят в день выпуска в свет тома, содержащего эту работу. Я хотел утолить гнусную жажду наживы. Я погрешил волей, но не разумом. Это совсем не одно и то же!»

Так г-н Бержере управлял хором своих прихотливых мыслей. Юная Эфеми, стоявшая все на том же месте, окликнула хозяина в третий раз:

– Барин... а барин...

Но слова, заглушённые рыданиями, застряли у нее в горле.

Господин Бержере, взглянув, наконец, на нее, увидел, что по ее круглым, красным, лоснящимся щекам текли слезы.

Юная Эфеми попыталась что-то сказать; из горла у нее вырвались какие-то хриплые звуки, вроде тех, которые по вечерам извлекает из своего рожка деревенский пастух. Подняв к лицу обнаженные по локоть руки, белые и полные, все в розовых царапинах, она обтерла глаза тыльной стороной загорелой кисти. Рыдания потрясли ее узкую грудь и безобразно

большой живот, оставшийся вздутым после болезни, которую она перенесла в семилетнем возрасте. Потом она спрятала руки под фартук, подавила всхлипывания и, как только справилась с волнением, резко крикнула:

– Сил больше нет жить в этом доме. Сил нет! Что это за жизнь! Лучше уйти, глаза бы мои не глядели на то, что здесь делается.

В ее голосе звучали одновременно и гнев и горе, она смотрела на г-на Бержере злыми глазами.

Ее и впрямь возмущало поведение хозяина. Не то чтобы она была сильно привязана к г-же Бержере, которая недавно еще, в дни своего великолепия и процветания, всячески унижала, бранила ее, попрекала куском хлеба. Не то чтобы она не знала о проступке хозяйки и, подобно г-же Дели он и другим дамам, думала, что г-жа Бержере ни в чем не виновата. Они с консьержкой, булочницей и горничной г-на Рено на все лады обсуждали тайный роман г-жи Бержере и г-на Ру. Она все знала еще раньше г-на Бержере. И не то чтобы одобряла такие дела. Напротив, она сурово их порицала. Если девушка, сама себе хозяйка, заводит любовника, она не видела в этом ничего зазорного: все на свете бывает. С ней самой чуть-чуть не случилось того же как-то ночью, после праздника, на краю оврага, где ее крепко прижал весельчак-парень. Долго ли тут до греха! Но подобное поведение женщины замужней, зрелого возраста, матери семейства – ее возмущало. Однажды утром она сказала булочнице, что ей противно смотреть на хозяйку. У нее самой, говорила она, на такие дела вкуса не было, и если бы на свете, кроме нее, некому было рожать детей, то пропади этот мир пропадом, ей было бы все равно. Если у хозяйки другое на уме, так на то муж есть. Эфеми считала, что хозяйка совершила большой, тяжкий грех, но в ее голове не укладывалось, как можно не простить и не позабыть даже большую вину. В детстве, до того, как она нанялась к господам, она работала с родителями в виноградниках и на поле. Она видела, как солнце палило грозди в цвету, как град побивал в несколько минут весь хлеб на полях, а на следующий год отец, мать, старшие братья снова возделывали виноградники, засеивали борозды. И эта терпеливая и близкая к природе жизнь научила ее, что в этом мире, где бывает и зной и холод, где есть и добро и зло, все поправимо и надо прощать и мужчине и женщине, как прощают земле.

Так поступали у них в деревне, а ее земляки, пожалуй, получше, чем люди в городе. Когда жена Роберте, толстуха Леокадия, купила своему работнику пару подтяжек, чтобы склонить его к тому, что ей от него было нужно, она не сумела провести Роберте, и он заметил ее шашни. Он накрыл

парочку в самую подходящую минуту и так крепко поучил жену кнутом, что навсегда отбил у нее охоту начинать сызнова. И о тех пор во всей округе не сыщешь жены лучше Леокадии, и мужу нечем попрекнуть ее «вот ни настолечко». Правда, с Роберте себя соблюдать надо, он сам себя ведет правильно и с животными и с людьми обращение знает.

Эфеми, не раз битая своим почтенным отцом, да и сама простая и грубая, признавала, что надо действовать силой; она считала бы в порядке вещей, если б г-н Бержере сломал о спину провинившейся жены обе половые щетки, у которых на одной волос наполовину вылез, а на другой, более старой, его набралось бы разве с горсточку, этой щеткой, намотав на нее тряпку, мыли пол в кухне. Но то, что хозяин мог молча надолго затаить злобу, казалось молодой крестьянке чем-то отвратительным, противоестественным и поистине дьявольским. Особенно сильно чувствовала она неправоту г-на Бержере потому, что его поведение усложняло и затрудняло ее службу. Надо было подавать отдельно г-ну Бержере, который не хотел больше обедать с г-жой Бержере, и отдельно г-же Бержере, существование которой, хотя оно и упорно не замечалось г-ном Бержере, все же приходилось поддерживать пищей. «Словно в харчевне», – вздыхала юная Эфеми. Г-жа Бержере, которой муж не давал больше денег, говорила: «Сосчитаетесь с барином». Эфеми, дрожа от страха, несла вечером счет барину, а он не мог справиться со все возрастающими расходами и отсылал ее повелительным жестом. И Эфеми была подавлена трудностями, неразрешимыми для ее ума. От жизни в такой нездоровой атмосфере она забыла о веселье: уже не слышались на кухне ее смех и крики, чередовавшиеся со звоном кастрюль, шипением масла, пролитого на плиту, тяжелым стуком ножа, которым она рубила на кухонном столе мясо, а заодно и собственные пальцы. Она уже не выражала шумно ни радости, ни горя. Она говорила: «В этом доме того и гляди одуреешь». Ей было жаль г-жу Бержере. Теперь барыня была к ней добра. Они просиживали целые вечера, бок о бок, у лампы, поверяя друг другу свои тайны. Преисполненная таких чувств, юная Эфеми сказала г-ну Бержере:

– Не хочу у вас жить, уж очень вы злой. Не хочу.

И она вновь залилась слезами.

Упрек не рассердил г-на Бержере. Он пропустил его мимо ушей, потому что был достаточно умен и не обиделся за такую дерзость на деревенскую девушку. И он усмехнулся про себя, потому что, несмотря на мудрые мысли и прекрасные принципы, хранил в тайниках души первобытный инстинкт, который живет в современных мужчинах, даже

самых мирных и кротких, и вызывает в них радость, когда их принимают за диких зверей, как будто способность вредить и разрушать – исконная сила живых существ, их основная доблесть и высшая добродетель; впрочем, если поразмыслить, так оно и есть, ибо в жизни, которую нельзя поддерживать и развивать без убийства, лучшим считается тот, кто проливает больше крови, а того, кто благодаря природным данным и хорошей пище наносит особенно сильные удары, величают доблестным, и такие мужчины нравятся женщинам, естественно заинтересованным в том, чтобы их избранники были самыми сильными, – женщинам, неспособным различать силу оплодотворяющую и силу разрушительную, так как обе действительно неразрывно слиты в природе. И когда юная Эфеми простым, как басня Эзопа, языком сказала хозяину, что он злой, г-ну Бержере, по натуре своей склонному к размышлениям, почудился льстивый шепот, как бы продолжающий несложную речь служанки: «Знай; Люсьен Бержере, ты человек злой, в самом обыкновенном смысле слова, то есть ты способен вредить и разрушать от избытка жизненных сил, в целях обороны, ради завоеваний. Знай, ты в своем роде гигант, чудовище, людоед, страшный человек».

Но так как он был склонен к сомнениям и никогда не принимал слов людей на веру, он стал проверять самого себя, дабы убедиться, что он и впрямь таков, как сказала Эфеми. Заглянув в себя, он сразу отметил, что в общем он человек не злой, что, напротив, он жалостлив, чуток к чужим страданиям, сочувствует несчастным, любит ближних, хотел бы удовлетворить все их нужды, исполнить все желания, дозволенные и преступные, ибо он не ограничивает милосердия к роду человеческому рамками какого-либо морального учения и печется о всех несчастных. Он считал дозволенным все, что никому не причиняет вреда. И в душе у него было больше тепла, чем то разрешено законами, нравами и верованиями различных народов. Итак, разобравшись в себе, он увидел, что не был злым, и это повергло его в некоторое смущение. Тяжело было обнаружить в себе презренные свойства рассудка, не вооружающие для жизненной, борьбы.

Затем он с похвальной педантичностью стал вспоминать, не нарушил ли он своего доброжелательного умонастроения и мирного характера при каких-либо обстоятельствах, хотя бы по отношению к г-же Бержере. И вскоре он осознал, что в этом частном случае он поступал против своих общих правил и обычных чувств, что тут его поведение представляло интересные особенности, из которых он отметил наиболее странные.

«Главные особенности: я притворяюсь, будто считаю ее преступной, и

действую так, словно и в самом деле исповедую это общее людям заблуждение. Совесть упрекает ее за прелюбодеяние с господином Ру, моим учеником, я же считаю ее прелюбодеяние дозволенным, так как оно никому не причинило зла. Госпожа Бержере нравственнее меня. Но, считая себя виновной, она извиняет себя. А я, не считая ее виновной, не извиняю ее. В мыслях о ней я безнравственен и кроток. В обращении с ней я нравственен и жесток. Я безжалостно осуждаю не ее поступок, который, с моей точки зрения, только смешон и неуместен, а ее самое, виновную не в том, что она сделала то, что она сделала, а в том, что она есть то, что она есть. Юная Эфеми права: я злой!»

Он остался доволен собою и, развивая новые мысли, рассуждал так:

«Я действую, значит – я злой. И без этого опыта я знал, что нет безобидного действия и что действовать – значит вредить или разрушать. Как только я начал действовать, я стал зловредным».

Он говорил так не без основания, потому что в самом деле систематически, упорно, последовательно стремился отравить жизнь г-же Бержере, отнять у этой женщины все блага, необходимые ей при ее примитивной душе, семейных наклонностях и общительной натуре, и в конце концов выжить из дому надоедливую и неприятную супругу, своей изменой давшую ему в руки бесценное преимущество.

Он пользовался этим преимуществом. Он выполнял свое дело с энергией, удивительной для слабохарактерного человека. Г-н Бержере был человеком нерешительным и безвольным. Но в этом случае его подстрекал непобедимый Эрос, желание. Ибо мир зиждется на желании, оно более сильно, чем воля, и именно оно создало мир. Г-н Бержере руководствовался в своем поведении Эросом, неизъяснимым желанием не видеть более г-жу Бержере. И в этом чистом, ясном желании, не омраченном ненавистью, было столько же сладостной силы, как и в любви.

Между тем юная Эфеми дожидалась, чтобы хозяин ответил ей или хоть накричал на нее. Она походила на г-жу Бержере, свою хозяйку, – молчание было ей тягостнее брани и оскорблений.

Наконец г-н Бержере заговорил. Он сказал, не возвышая голоса:

– Я вас не держу. Вы уйдете от нас через неделю.

В ответ юная Эфеми жалобно заскулила. На минуту она остолбенела. Затем в тупом и горестном недоумении вернулась на кухню, увидела кастрюли, помятые, как доспехи на поле брани, ее доблестными руками; стул с продавленным сиденьем, что, впрочем, не вызывало особых неудобств, потому что она на него не садилась; кран, из которого ночью часто текла вода и заливала квартиру, так как она забывала его закрыть;

вечно засоренную раковину; стол, изрубленный ножом; чугунную, изъеденную огнем плиту; черную дыру для угля; полки, украшенные бумажным кружевом; банку с ваксой; бутылку с жидкостью для чистки меди. И тут, окруженная памятниками своей многотрудной жизни, она заплакала.

А г-н Бержере решил отправиться завтра, как говорили в старину, завтра, в базарный день, к Денизо, который держал на площади св. Экзюпера рекомендательную контору для прислуги. В низкой приемной сидело десятка два крестьянок, и молодых и старых: одни – коренастые, краснолицые и толстощекие, другие – долговязые, сухопарые, желтые, не схожие ни ростом, ни лицом, но все схожие беспокойно напряженным выражением глаз, потому что в каждом посетителе, скрывавшем дверь, все они видели свою судьбу. Г-н Бержере оглядел это скопище женщин, ожидающих нанимателя. Затем прошел в контору, увешанную календарями, где Денизо собственной персоной сидел за столом, заваленным замусоленными книгами для записей и старыми подковами, служившими пресс-папье.

Господин Бержере просил рекомендовать ему служанку и, надо думать, потребовал особу, одаренную редкими качествами, потому что после десятиминутного разговора вышел в полном огорчении. Однако, проходя обратно по приемной, он увидел в темном углу фигуру, сперва им не замеченную. Это было существо без возраста и пола; на длинном, узком туловище сидела костлявая и облезлая голова со лбом, нависшим, как громадный шар, над носом, таким коротышкой, что видны были одни ноздри. Из открытого рта торчали лошадиные зубы, а под отвисшей губой совсем не было подбородка. Она сидела в углу, не шевелясь, ни на кого не глядя, сознавая, быть может, что ее не наймут так скоро и предпочтут ей других, но все же спокойная и довольная собой. Она была одета, как одеваются женщины в низменных местностях, где царит лихорадка. В ее вязаном чепце застряли соломинки.

Господин Бержере долго рассматривал ее в мрачном восхищении. Наконец, указав на нее Денизо, сказал:

- Вот она мне подходит.
- Мари? – спросил удивленно хозяин конторы.
- Она самая, – ответил г-н Бержере.

## XVII

Господин Мазюр, архивариус, получил наконец академические знаки отличия и смотрел теперь на правительство со снисходительной кротостью. Так как он не мог не возмущаться, то отныне обратил свой гнев на клерикалов и разоблачал заговоры епископов. Встретив однажды утром на площади св. Экзюпера г-на Бержере, он стал предостерегать его от клерикальной опасности.

– Духовенству не удалось свергнуть республику, так теперь оно хочет захватить ее в свои руки, – сказал он.

– Таково стремление всех партий, – ответил г-н Бержере, – это естественный результат демократических установлений, потому что суть нашего демократического строя в борьбе партий, раз сам народ разделен по своим интересам и чувствам.

– Но, – продолжал г-н Мазюр, – совершенно недопустимо, что клерикалы прикрываются маской свободы и обманывают избирателей.

На это г-н Бержере возразил:

– Все партии, оказавшиеся не у власти, провозглашают свободу, потому что это усиливает оппозицию и ослабляет правительство. По той же причине партия, стоящая у власти, где только может, урезывает свободу и издает самые тиранические законы именем державного народа. Нет такой хартии, которая охраняла бы от ее посягательств свободу и верховную власть народа. В теории деспотизм демократии не знает никаких границ. Фактически же, если говорить только о настоящем моменте, деспотизм этот надо признать довольно, умеренным. Нам дали «злодейские законы». Но ведь их не применяют.

– Господин Бержере, – сказал архивариус, – хотите выслушать добрый совет? Вы республиканец: не стреляйте же по друзьям. Если мы не примем мер, мы вновь подпадем под власть духовенства. Реакция делает ужасающие успехи. Белые всегда останутся белыми, а синие – синими, как говорил Наполеон. Вы – синий, господин Бержере. Клерикальная партия не простит вам ваших каламбуров о Жанне д'Арк. Даже я вам этого не забуду, ведь Жанна д'Арк и Дантон – мои кумиры. Вы вольнодумец. Защищайте вместе с нами светскую власть! Объединимся! Только единение даст нам силу для победы: К борьбе с клерикализмом призывают интересы высшего порядка.

– Я вижу тут, главным образом, интересы партии, – ответил г-н

Бержере. – И если мне пришлось бы присоединиться к какой-либо партии, я поневоле примкнул бы к вашей так как единственно ей я мог бы служить без особого лицемерия. Но, к счастью, меня ничто не вынуждает к этой крайности, и мне нет надобности окорнать свой ум, чтобы войти в политическую клетку. По правде говоря, я отношусь безразлично к вашим спорам, потому что чувствую их бесплодность. В конце концов вы мало чем отличаетесь от клерикалов. Если бы они сменили вас у кормила власти, условия жизни не изменились бы. А в государстве имеют значение только условия жизни. Убеждения – игра словами, не больше. Вы отличаетесь от клерикалов только убеждениями. Вы не можете противопоставить их морали свою по той простой причине, что во Франции не существуют одновременно две морали: с одной стороны – религиозная, а с другой – светская. Те, кто думает иначе, обмануты видимостью. Я вам это докажу в немногих словах.

У каждой эпохи есть свой уклад жизни, которым определяется общий всем людям образ мыслей. Наши нравственные понятия не продукт размышления, а результаты обычаев. Так как с признанием этих понятий связано уважение, а с их отрицанием – позор, то никто не осмеливается критиковать их открыто. Они принимаются без проверки, всем обществом целиком, независимо от религиозных верований и философских убеждений, и поддерживаются как теми, кто считает для себя обязательным применять их на практике, так и теми, кто в своих поступках ими не руководствуется. Спорным является лишь происхождение этих понятий. Люди, считающие себя вольнодумцами, полагают, будто руководствуются в своем поведении предписаниями природы, а верующие считают, что следуют предписаниям религии, и оказывается, что это почти одно и то же, не потому, что предписания эти универсальны, – то есть разом и божественны и естественны, как принято говорить, – но, наоборот, потому что они свойственны данному времени и месту, проистекают из одинаковых обычаев и выведены из одинаковых предрассудков. У каждой эпохи есть своя господствующая мораль, которая вытекает не из религии и не из философии, а из привычки, – единственной силы, способной объединить людей в одном чувстве, потому что все, подлежащее обсуждению, разъединяет их и человечество может существовать лишь при том условии, если оно не размышляет о самой сущности своего существования. Мораль господствует над верованиями: о верованиях спорят, тогда как сама мораль никогда не подвергается проверке.

И именно потому, что мораль есть сумма предрассудков данной общины, не могут существовать в одном и том же месте, в одно и то же



время две соперничающие морали. Я мог бы иллюстрировать эту истину огромным числом примеров. Но разительнее всего пример императора Юлиана,<sup>[89]</sup> с работами которого я в свое время немножко познакомился. Юлиан, так смело и благородно борющийся за своих богов, Юлиан солнцепоклонник, исповедовал все нравственные убеждения христиан. Подобно им, он презирал наслаждения плоти, восхвалял воздержание, которое приводит человека к общению с божеством. Подобно им, он исповедовал догмат искупления, верил в очистительную силу страдания, был приобщен к таинствам, отвечающим так же полно, как и христианские, живой потребности в чистоте, самоотречении и любви к богу. Словом, его обновленное язычество и молодое христианство в нравственном отношении были похожи друг на друга, как родные братья. Чему тут удивляться? Оба культа были близнецами, рожденными Римом и Востоком. Оба отвечали одним и тем же человеческим обычаям, одним и тем же затаенным инстинктам азиатского и латинского мира. По духу они были схожи. Но по названию и языку различны. Этой разницы было достаточно, чтобы они стали смертельными врагами. Люди по большей части ссорятся из-за слов. Из-за слов они легче всего убивают и идут на смерть. Историки со страхом задают себе вопрос, что случилось бы с цивилизацией, если бы император-философ восторжествовал над галилеянином, победив его упорством и умеренностью? Переделывать историю – не легкая игра. Все же совершенно очевидно, что тогда многобожие, которое уже во времена Юлиана свелось к известного рода единобожию, подверглось бы влиянию новых нравов и довольно точно воспроизвело бы нравственный облик христианства. Возьмите великих революционеров и скажите, был ли хоть один из них сколько-нибудь оригинален в области морали. У Робеспьера всегда были те же взгляды на добродетель, что у аррасских священников, воспитавших его. Вы – вольнодумец, господин Мазюр, и полагаете, что на нашей планете человек должен стремиться к наибольшей сумме счастья. Господин де Термондр – католик и проповедует, что мы живем в земной юдоли, дабы страданием заслужить вечную жизнь. И при всей противоречивости ваших убеждений у вас обоих приблизительно одни и те же понятия о морали, ибо мораль не зависит от убеждений.

– Вы все вышучиваете, – сказал г-н Мазюр, – слушая вас, я едва удерживаюсь, чтобы не выругаться, как сапожник. Религиозные убеждения, все равно, будь они хоть от черта, оказали такое влияние на образование нравственных понятий, что пренебрегать этим влиянием нельзя. Поэтому я вправе сказать, что существует христианская мораль и что я ее отрицаю.

– Но, дорогой мой, – кротко ответил преподаватель филологического

факультета, – существует столько же христианских моралей, сколько веков пережило христианство и сколько оно охватило стран. Религии, подобно хамелеону, принимают окраску почвы, на которой они живут. У каждого поколения есть своя единая мораль, которой и обусловлено единство этого поколения, но мораль непрестанно меняется вместе с жизненным укладом и бытом, четким отражением которых, или как бы их увеличенной тенью на стене, она является. Таким образом, мораль нынешних католиков, которые так вас раздражают, очень похожа на вашу собственную и, напротив, сильно отличается от морали католиков времен Лиги. Я не говорю о христианах веков апостольских; если бы г-н де Термондр увидел их вблизи, они показались бы ему весьма странными существами. Будьте справедливы и рассудительны, если это только возможно, – скажите, пожалуйста, в чем существенная разница между вашей моралью вольнодумца и моралью современных простодушных людей, которые ходят в церковь? Они исповедуют догмат искупления, основу своей религии, но они не меньше вас возмущаются, когда этот догмат в ярком образе преподносят им их же собственные пастыри. Они верят, что страдание благостно и угодно богу. Почему же они не сидят на гвоздях? Вы провозгласили свободу вероисповеданий. Они женятся на еврейках и не сжигают своего тестя. Чем ваши взгляды на отношения полов, брак, семью отличаются от их воззрений? Разве только тем, что вы допускаете развод, правда, не рекомендуя его. Они верят, что тот, кто вожделеет к женщине, обрекает себя на вечную муку. Почему же тогда на званых обедах и вечерах их женщины так же сильно оголяются, как и ваши? Почему они надевают платья, которые облегают их фигуру? И почему они не помнят того, что сказал Тертуллиан<sup>[90]</sup> об одеянии вдов? Почему не носят они покрывала и не прячут волос? А разве вы, со своей стороны, не применяетесь к их нравам? Почему вы не требуете, чтобы женщины ходили голыми, раз вы не верите, что Ева прикрылась фиговым листом, после того как ее проклял Иегова? Какие взгляды противопоставляете вы их взглядам на родину, когда они убеждают вас служить ей и защищать ее, словно их родина не на небеси? На обязательную воинскую повинность, которой они все подчиняются, за исключением духовенства, хотя и стараясь от нее увильнуть? На войну, на которую они пойдут бок о бок с вами, как только вы этого потребуете, хотя их бог сказал: «Не убий»? Почему вы, свободолюбивые интернационалисты, не расходитесь с ними в этих важных вопросах жизни? Что же вносите вы присущего только вам? Даже дуэль, привлекающая элегантностью своей формы, принята и у них и у вас, хотя она не соответствует ни их принципам, так как их духовенство и

короли запретили ее, ни вашим, так как она предполагает невероятное вмешательство бога в наши споры. Разве у вас не то же этическое отношение к организации труда, к частной собственности, к капиталу, ко всей экономике современного общества, несправедливости которого, если они не касаются вас, вы переносите так же терпеливо, как и они? Вам надо стать социалистами, чтобы дело пошло иначе. А когда вы станете социалистами, они, наверное, тоже примкнут к социалистам. Вы допускаете несправедливости, сохранившиеся от старого строя, в том случае, если это вам выгодно. А ваши мнимые противники принимают с своей стороны последствия революции, если дело идет о приобретении состояния какого-нибудь бывшего скупщика национальных имуществ. Они приверженцы конкордата, и вы тоже, – сама религия вас объединяет.

Их вера почти не влияет на их чувства, они, так же как и вы, привязаны к сей жизни, которую должны бы презирать, и к собственности, которая мешает спасению души. У них примерно те же нравы, что и у вас, и примерно та же мораль. Вы придираетесь к ним в вопросах, интересующих исключительно политиков и несколько не трогающих общество, одинаково равнодушное и к ним и к вам. Вы верны одним и тем же традициям, подчинены одним и тем же предрассудкам, погружены в тот же мрак, вы пожираете друг друга, как крабы в корзине. Глядя на вашу войну мышей и лягушек,<sup>[91]</sup> не чувствуешь рвения упразднить духовенство.

## XVIII

Мари вошла в дом, как смерть. При виде ее г-жа Бержере поняла, что это конец.

Юная Эфеми, которая, сама того не подозревая, питала и к хозяевам и к хозяйскому дому глубокую и крепкую привязанность, бессознательную собачью преданность, долго, молча и неподвижно, с горящими щеками сидела на своем продавленном стуле. Она не плакала, но губы у нее обметало лихорадкой. Она простилась с хозяйкой торжественно, как того требовала ее простая и набожная душа. За пятилетнюю службу она всего натерпелась от придирчивой и скупой хозяйки, которая держала ее впроголодь; она иногда грубила и возмущалась, бранила г-жу Бержере с соседскими служанками. Но она была христианкой и в глубине души почитала своих хозяев, как отца с матерью. Она сказала, сопя от огорчения:

– Прощайте, барыня. Я уж помолюсь за вас господу богу, чтобы он послал вам счастья. Очень бы мне хотелось проститься с барышнями.

Г-жа Бержере чувствовала себя так, будто вместе с этой недалекой девушкой выгнали из дому и ее. Но достоинство ее, как она полагала, требовало, чтобы она не проявляла никакого волнения.

– Ступайте, голубушка, – сказала она, – пусть барин вас рассчитает.

Когда г-н Бержере отдал ей жалованье, Эфеми долго пересчитывала деньги, три раза начинала сызнова, причем шевелила губами, словно молилась. Она проверяла деньги, боясь запутаться во всех этих различных монетах. Потом положила деньги, все свое достояние, в карман юбки, под носовой платок, и опустила руку в карман.

Приняв эти предосторожности, она сказала:

– Вы всегда были добры ко мне, барин. Дай вам бог счастья. Но и то правда, – выгнали вы меня.

– Вы считаете меня злым, – ответил г-н Бержере. – А я, голубушка, расстаюсь с вами с сожалением и только потому, что так нужно. Если я могу вам в чем-нибудь помочь, я охотно это сделаю.

Эфеми провела рукой по глазам, шмыгнула носом и кротко сказала, залившись слезами:

– Никто здесь не злой.

Она ушла и затворила за собой дверь, стараясь делать как можно меньше шума. И г-н Бержере представил себе ее в белом чепце, с синим зонтом между колен, беспокойно глядящей на дверь, среди унылой толпы

женщин, ожидающих нанимателя, в конторе у Денизо.

Между тем Мари, скотница, всю жизнь ходившая за животными, чувствуя ужас, который она внушает, совсем одурела у новых хозяев, забилась в кухню и уставилась на кастрюли. Она умела готовить только похлебку с салом и понимала лишь простонародный говор. Хороших рекомендаций – и тех у нее не было. Как выяснилось потом, она сходилась с пастухами, пила водку и даже спирт.

Первый гость, которому она открыла дверь, был командор Аспертини; будучи проездом в городе, он зашел повидаться со своим другом, г-ном Бержере. По-видимому, она произвела сильное впечатление на итальянского ученого, потому что после первых же слов он заговорил о ней с тем интересом, который возбуждает необычайное и страшное уродство.

– Ваша служанка, господин Бержере, – сказал он, – напоминает мне выразительную фигуру, нарисованную Джотто на одном из сводов церкви в Ассизи, когда он, вдохновившись терциной Данте, изобразил «Ту, что никто не встретил бы с улыбкой». – Кстати, – прибавил итальянец, – видели вы мозаичный портрет Вергилия, который ваши соотечественники нашли в Суссе, в Алжире? Это – римлянин с широким и низким лбом, с квадратной головой, с крепкой челюстью, совсем не похожий на того прекрасного отрока, которого нам показывали прежде. Бюст, долгое время считавшийся изображением этого поэта, на самом деле – римская копия греческого оригинала четвертого века и представляет юного бога, которому поклонялись на элевсинских празднествах.<sup>[92]</sup> Мне кажется, я первый открыл подлинный характер этого изображения в моей работе о младенце Триптоleme. Знакомы вы с мозаичным портретом Вергилия, господин Бержере?

– Насколько можно судить по фотографии, которую я видел, эта африканская мозаика – копия портрета, не лишенного выразительности, – ответил г-н Бержере. – Портрет, по-видимому, действительно изображает Вергилия, и возможно, что в нем есть сходство. Ваши гуманисты эпохи Возрождения, господин Аспертини, представляли себе автора «Энеиды» мудрецом. В старых венецианских изданиях Данте, которые я просматривал в нашей библиотеке, много гравюр на дереве, где Вергилий изображен с бородой философа. Позднее он стал прекрасным, как молодой бог. Теперь у него тяжелая челюсть и волосы, начесанные на лоб по римской моде. Впечатление, которое его поэзия производила на умы людей, тоже менялось. Каждая литературная эпоха представляла ее на свой лад. Даже если оставить в стороне средневековые рассказы о Вергилии-

колдуне, несомненно, что в разные эпохи великим мантуанцем<sup>[93]</sup> восхищались по разным причинам. Макробий<sup>[94]</sup> видел в поэте сивиллу империи. Данте и Петрарка ценили его философию. Шатобриан и Виктор Гюго признали в нем провозвестника христианства. Я же, любитель словесной игры, нахожу в его творениях только филологический интерес. Вы, господин Аспертини, цените его огромное знание римских древностей, и это, быть может, самое основное достоинство «Энеиды». В старые тексты мы вкладываем свои собственные мысли. Каждое поколение по-новому видит великие творения древности и таким образом сообщает им вечно текущее бессмертие. Мой коллега Поль Стапфер говорит по этому поводу много интересного.

– И много значительного, – добавил командор Аспертини. – Но он не смотрит так безнадежно на текучесть человеческой мысли.

Так эти два превосходных человека разговаривали друг с другом, тревожа доблестные и благородные тени, украшающие жизнь.

– Скажите, пожалуйста, что случилось с тем военным-латинистом, которого я встретил у вас, – спросил командор Аспертини, – с милейшим господином Ру, который, кажется, познал истинную цену военной славы? Он ведь не стремился стать капралом.

Господин Бержере коротко ответил, что г-н Ру вернулся в полк.

– Последний раз как я был в вашем городе, – продолжал командор Аспертини, – если не ошибаюсь, второго января, я застал этого молодого ученого во дворе библиотеки, под липой, где он беседовал с молодой привратницей. У нее горели уши. А это, как вам, разумеется, известно, признак, что она внимала ему в радостном смущении. Удивительно красива была эта тонкая зардевшаяся раковина над белой шеей. Я сделал вид, будто не заметил их, из деликатности и чтобы не выступать в роли пифагорейского мудреца, который смущал влюбленных в Метапонте.<sup>[95]</sup> Очень приятная девушка – у нее рыжие, словно пламя, волосы, нежная кожа в легких веснушках и такая белая, что кажется освещенной изнутри. Вы обратили на нее внимание, господин Бержере?

Господин Бержере, который уже давно обратил на нее внимание и даже нашел ее весьма привлекательной, кивнул головой. Он был слишком порядочным человеком, слишком ревниво относился к своему положению и был слишком скромен для того, чтобы позволить себе малейшую вольность с молодой библиотечной привратницей. Но не раз, во время долгих сидений в библиотеке, с пожелтевших страниц Сервия или Доната на него глядела тоненькая и миловидная девушка с нежным цветом лица и

стройной, гибкой фигуркой. Ее звали Матильдой; говорили, будто она неравнодушна к красивым молодым людям. Г-н Бержере обыкновенно был очень снисходителен к влюбленным. Но мысль, что г-н Ру нравится Матильде, вызывала в нем неприятное чувство.

– Это было вечером, после занятий, – продолжал командор Аспертини. – Я скопировал три неопубликованных письма Муратори, которые не значились в каталоге. Проходя по двору, где хранятся остатки древних памятников вашего города, я увидел под липой у колодца, неподалеку от стелы римско-галльских лодочников, молодую золотоволосую привратницу, которая внимала речам господина Ру, вашего ученика, опустив глаза и покачивая на пальце связку больших ключей. То, что он говорил, вероятно, не очень отличалось от того, что говорил пастушке волопас Оаристиса. И действие его слов тоже не вызывало сомнений. Мне показалось, что он назначал ей свидание. Вероятно, благодаря приобретенной мной привычке истолковывать памятники античного искусства, я сразу угадал смысл этой группы.

Он улыбнулся и прибавил:

– Господин Бержере, я не чувствую всех тонких оттенков вашего прекрасного французского языка. Но слово «девица» или «девушка» не удовлетворяют меня для обозначения такого очаровательного юного существа, как привратница вашей городской библиотеки. Слово «дева», которое устарело и теперь плохо звучит, тут не подходит. И, между прочим, я сожалею об этом. Назвать ее молодой' особой – не изящно; я нахожу, что к ней подходит только название нимфы. Но, пожалуйста, господин Бержере, никому не рассказывайте того, что я сообщил вам о библиотечной нимфе: как бы это ей не повредило. Не надо, чтобы ее тайны стали известны мэру или библиотекарям. Мне было бы очень жаль даже невольно причинить малейшее огорчение вашей нимфе.

«Это правда, моя нимфа красива», – подумал г-н Бержере.

Он был печально настроен и в эту минуту не знал, чем его более уязвил г-н Ру: тем ли, что понравился библиотечной привратнице, или тем, что соблазнил г-жу Бержере.

– Ваш народ, – сказал командор Аспертини, – достиг высокой умственной и духовной культуры. Но от прежнего варварства, в котором он долго пребывал, у него осталась какая-то неуверенность и принужденность в отношении к любви. В Италии любовь для влюбленных – все, а для посторонних – ничто. Это частное дело тех, кто ею занят, а общество такими делами не интересуется. Правильное понимание чувства страсти и наслаждения охраняет нас от лицемерия и жестокости.

Командор Аспертини еще долго беседовал со своим французским другом о различных вопросах морали, искусства и политики; затем он встал, чтобы проститься. В передней он снова увидел Мари и сказал г-ну Бержере:

– Пожалуйста, не сочтите за обиду то, что я сказал вам относительно вашей кухарки. У Петрарки тоже была исключительно уродливая служанка.



## XIX

С тех пор как г-н Бержере отстранил падшую г-жу Бержере от управления домом, он распоряжался сам, но плохо. Правда, служанка Мари не исполняла его приказаний, потому что она их не понимала. Но так как действовать необходимо, ибо это неприменное условие жизни, то Мари действовала, и ее природный инстинкт постоянно вдохновлял ее на неудачные решения и вредные действия. По временам инстинкт этот погасал в пьянстве. Однажды, выпив весь спирт из спиртовки, она двое суток пролежала без сознания на полу в кухне. Пробуждения ее бывали ужасны. Она сокрушала все на своем пути. Ставя на камин подсвечник, она ухитрилась расколоть мраморную доску, что вряд ли удалось бы кому другому. Она жарила мясо, грохоча и отравляя воздух чадом; и все, что она готовила, было несъедобно.

В одинокой супружеской спальне г-жа Бержере рыдала от ярости и плакала от горя над развалинами своей семейной жизни. Беда принимала неожиданные и странные формы, поражавшие ее будничную душу. И беда эта все росла. Она уже совсем не получала денег от г-на Бержере, а прежде он каждый месяц отдавал ей все жалованье целиком, не оставляя себе даже на папиросы; она потратила много денег на туалеты в те упоительные дни, когда нравилась г-ну Ру, и еще больше в тот мучительный период, когда, поддерживая свой престиж в обществе, усердно ходила в гости; и теперь шляпница и портниха настойчиво требовали с нее денег; из магазина готового платья Ашара, где на нее смотрели как на случайную покупательницу, ей прислали счета, вид которых по вечерам наводил ужас на дочь г-на Пуйи. Усмотрев в этих неслыханных ударах судьбы неожиданное, но несомненное последствие своего грехопадения, она осознала всю тяжесть прелюбодеяния и теперь со стыдом вспоминала все, чему ее учили в молодости, когда внушали, что это исключительный, вернее, единственный в своем роде грех, ибо с ним связан позор, которого не влекут за собой ни зависть, ни скупость, ни жестокость.

Стоя на коврике, перед тем как лечь в постель, она оттягивала свою батистовую ночную сорочку и, прижав подбородок к шее, разглядывала свою пышную грудь и живот, которые сверху казались грудой белых теплых подушек, позлащенных светом лампы. Она не задумывалась, действительно ли хороши ее формы, потому что не видела красоты в наготе и понимала только красоту, созданную портнихами; она не гордилась своим

телом и не стыдилась его, не старалась, глядя на него, вспомнить, бывшие наслаждения, и все же ее начинало тревожить и смущать созерцание этого тела, тайные побуждения которого привели к таким огромным переменам в ее семейной жизни и общественном положении.

Она понимала, что поступок сам по себе пустячный может быть очень важным с точки зрения идеи, ибо она была женщиной нравственной, религиозной, достаточно суеверной и принимала карточные фишки за чистую монету. Угрызения совести не мучили ее, так как она не обладала воображением, о боге судил а весьма здраво и считала себя уже достаточно наказанной. Но, не задумываясь над обычным пониманием женской чести, не замышляя грандиозных планов – перевернуть общее понятие о нравственности, только бы самой приобрести скандальную невинность, она все же не жила спокойной и удовлетворенной жизнью и не вкушала внутреннего мира среди всех напастей.

Ее волновала таинственная неизвестность, – когда же кончатся эти напасти. Они разматывались, как клубок красной ленточки в самшитовом ящичке на прилавке г-жи Маглуар, кондитерши с площади св. Экзюпера. Г-жа Маглуар вытягивала ленточку, пропущенную сквозь отверстие в крышке, и перевязывала бесчисленные пакетики. Г-жа Бержере не знала, когда наступит конец несчастьям; печаль и раскаяние придавали ей некоторую внутреннюю красоту.

По утрам она смотрела на увеличенный портрет отца, умершего в год ее свадьбы, и, глядя на этот портрет, плакала, вспоминая детство, беленький чепчик в день первого причастия, воскресные прогулки, когда она ходила пить молоко в Тюильри со своими двоюродными сестрами, барышнями Пуйи, дочерьми составителя «Словаря»; вспоминала мать, еще здравствующую, но уже старенькую, живущую на краю Франции, на севере, в родном городке. Отец г-жи Бержере, Виктор Пуйи, директор лицея, издатель пользующейся известностью грамматики Ломона. при жизни имел высокое представление о своем общественном значении и умственном превосходстве. Подавленный славой своего старшего брата и покровителя, великого Пуйи, составителя «Словаря», преклоняясь перед университетскими авторитетами, он отыгрывался на остальном мире и кичился своим именем, своей грамматикой и подагрой, сильно донимавшей его. Держался он с достоинством, подобающим члену семьи Пуйи. И портрет, казалось, говорил дочери: «Дитя мое, я не знаю, я не хочу знать всего того, что не вполне добропорядочно в твоём поведении. Будь уверена, причина всех твоих несчастий в том, что ты вышла замуж за человека, недостойного тебя. Я напрасно льстил себя надеждой поднять его до нас.

Бержере – человек невоспитанный. Твой главный грех, источник твоих нынешних несчастий, дочь моя, – твой брак». И г-жа Бержере внимала этим речам. Родительская мудрость и доброта, которой они были проникнуты, поддерживали ее слабеющую бодрость. Однако она незаметно подчинялась судьбе. Она прекратила свои обвинительные визиты, так как любопытство общества пресытилось однообразием ее жалоб. Даже в доме ректора стали подумывать, что рассказы, ходившие по городу о ней и г-не Ру, – не вымысел. Она надоела и была скомпрометирована; ей дали это понять. Она сохранила лишь симпатию г-жи Делион, видевшей в ней олицетворение угнетенной добродетели, но г-жа Делион принадлежала к высшему обществу и потому жалела, ценила г-жу Бержере, но не принимала ее. Г-жа Бержере осталась одна, убитая, без мужа, без детей, без домашнего уюта, без денег.

Еще раз попыталась она войти в свои хозяйские права. Это было наутро после особенно печального и тяжелого дня. Выслушав оскорбительные требования мадемуазель Роз, шляпницы, и мясника Лафоли, уличив служанку Мари в краже трех франков семидесяти пяти сантимов, оставленных прачкой на буфете в столовой, г-жа Бержере легла спать, полная грусти и отчаяния, и не могла заснуть. Избыток напастей сделал ее романтической, и во мраке ночи ей чудилось, что Мари подсыпает ей в воду яд, изготовленный г-ном Бержере. Утро рассеяло ее смутные страхи. Она оделась с некоторой тщательностью и, важная и кроткая, направилась в кабинет к г-ну Бержере.

Ее появление было столь неожиданно, что он не успел запереть дверь.  
– Люсьен! Люсьен! – воскликнула она.

Она заклинала его невинными головками дочерей. Она просила, молила, изложила справедливые соображения о плачевном состоянии дома, обещала в будущем быть хорошей, верной, экономной, любезной женой. Но г-н Бержере ничего ей не ответил.

Она опустилась на колени, зарыдала, заломила свои когда-то повелевавшие руки. Он не удостоил ее ни взглядом, ни словом.

У ног его была представительница семьи Пуйи. Но он взял шляпу и вышел. Тогда она встала, побежала за ним вдогонку, сжав кулаки, открыв рот, и крикнула ему из передней:

– Я никогда вас не любила, слышите? Никогда, даже когда выходила за вас замуж! Вы безобразны, вы смешны, да и во всем остальном хороши, нечего сказать! Весь город знает, что вы жалкий мозгляк, да, мозгляк!

Это слово, слышанное ею только из уст умершего двадцать лет тому назад Пуйи, составителя «Словаря», вдруг совершенно неожиданно

пришло ей в голову. Она не вкладывала в него точного смысла. Но оно казалось ей крайне оскорбительным, и она выкрикивала, стоя на лестнице:

– Мозгляк, мозгляк!

То была последняя попытка супруги. Через две недели после этого свидания г-жа Бержере предстала перед г-ном Бержере, на этот раз спокойная и решительная.

– Дольше терпеть я не могу, – сказала она. – Вы этого хотели. Я уезжаю к матери, пришлите туда Жюльетту. Полину я оставляю вам...

Полина была старшая дочь; она была похожа на отца, которого она любила.

– Надеюсь, – прибавила г-жа Бержере, – вы назначите вашей дочери, которая будет находиться при мне, приличное содержание. Я ничего не требую для себя.

Услыхав эти слова, увидав, что он довел ее до крайности своей предусмотрительностью и настойчивостью, г-н Бержере сделал усилие, чтобы сдержать радость, боясь, как бы г-жа Бержере, заметив ее, не отказалась от такого приятного для него разрешения вопроса.

Он ничего не ответил, лишь наклонил голову в знак согласия.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](http://Royallib.com)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

---

---

notes

## **Примечания**

**1**

*Катулл* – Гай Валерий Катулл, римский поэт-лирик I в до н. э.

*Петроний* – Тит Петроний Арбитр, один из крупнейших римских сатириков (ум. в 66 г. н. э.), автор романа «Сатирикон», в котором изображены нравы римского общества I в. н. э.

**3**

*Турн* – легендарный царь рутулов, убитый Энеем («Энеида» Вергилия)



*Деции* – два римлянина – Публий Деций Мус и его сын Публий Деций Мус, участники Самнитских войн (IV–III вв. до н. в.). Прославились любовью к отечеству и беззаветной готовностью принести ради его благополучия любые жертвы. Их имя стало нарицательным.

*Битва при городке Марафоне* на восточном побережье Аттики, к северо-западу от Афин, между персидской армией и греческой (490 г. до н. э.), закончившаяся полной победой греков, их первой победой над персидской державой.

*Кинегир* – брат греческого трагика Эсхила, прославившийся героическими подвигами во время греко-персидских войн (V в. до и. э.).

*Мильтиад* Младший – победитель персов при Марафоне. Его военная слава вошла в пословицу: «Лавры Мильтиада не дают мне спать» (слова греческого военачальника Фемистокла).

*Сервий Туллий* – римский царь (578–534 гг. до н. э.). Ему приписывается реформа, в результате которой наряду с патрициями к военной службе привлекались и плебеи, а, следовательно, в их числе и переселившиеся в Рим чужестранцы.

*Розенкрейцеры* – тайная масонская религиозно-политическая организация, возникшая в XVIII в. в Германии и ставившая своей целью защиту феодальных порядков.

*Лавиния* – вторая жена Энея («Энеида» Вергилия).

*Муратори, Луиджи-Антонио* (1672–1750) – итальянский археолог и историк, издатель материалов по истории средних веков.



*Король Бомба* – прозвище неаполитанского короля Фердинанда II (1810–1859), полученное им за жестокую расправу с революционерами Неаполя и Сицилии в 1848 г. при помощи артиллерийских снарядов.

Речь идет о политическом авантюристе и демагоге генерале Буланже, военном министре в кабинете Фрейсине, пытавшемся произвести в 1889 г государственный переворот и свергнуть республиканский режим. Заговор был раскрыт, и Буланже бежал в Бельгию.

*Эгинское искусство* – древнейший вид греческой скульптуры, образцы которой обнаружены археологами в начале XIX в. на острове Эгине, расположенном в Эгинском заливе Эгейского моря.

*Шанзи, Антуан (1823–1883) – французский генерал, участник франко-прусской войны, потерпевший со своей армией поражение в бою при Мансе, главном городе в департаменте Сарты (в прошлом – в провинции Мэн).*

*В битвах при Требии, Тразимене и Каннах римские войска во время Второй Пунической войны потерпели поражение от карфагенского полководца Ганнибала.*

*Фабий*, по прозвищу *Кунктатор* (что означает Медлитель) – римский полководец (III в. до н. э.), во время Второй Пунической войны измотавший силы карфагенского полководца Ганнибала своею тактикой искусного затягивании военных действий.

*Новара* – город в северо-западной Италии. В 1119 г. пьемонтская армия итальянцев был разбита под Новарой австрийскими войсками.

*Лисса* – остров в Адриатическом море; у этого острова в 1860 г. итальянский флот потерпел поражение от австрийцев.



Адуя – город в Абиссинии; в 1896 г. близ Адуи итальянская армия генерала Баратьери была разбита абиссинским негусом Менеликом.

*Декада* – здесь часть произведения, состоящая из десяти глав или книг, напр. «Декады» Тита Ливия.

*При Вейсенбурге и Рейсгофенс* французские войска потерпели поражение во время франко-прусской войны 1870–1871 гг.

*Майяр, Оливье* – французский проповедник XV в., в своих проповедях подчас впадал в грубовато шутливый топ.

*Квинтилиан* – руководитель риторической школы в Риме (I в. до н. э.), автор работы «Учение о красноречии».

Если станешь ты учитывать грехи наши, господи, господи, кто это выдержит? (*лат.*)

Ты навеки – лицо духовное (*лат.*).

«Отчим систром он войско сзывает...» (*лат.*).



*Акциум* (Акий), мыс и город в Акарнании, на берегу Западной Греции. Здесь в период гражданских войн после смерти Цезаря произошла битва между войсками Октавиана (Октавия) и войсками Антония и египетской царицы Клеопатры (31 г. до н. э.). В начале битвы Клеопатра обратилась на своем корабле в бегство, за ней последовал Антоний.

*Секст Проперций* – римский элегический поэт (1 в. дон. э).

*Либурна* – легкое военное судно у древних римлян.

*Марк Виспаний Агриппа* (63–12 гг.), зять и приближенный Октавиана, римский военачальник, прославившийся своей победой при Акциуме.

Эвд – герцог Французский и граф Парижский (ум. в 898 г.).

Перевод Ады Владимировой.

*Малларме, Стефан (1842–1898) – поэт, глава французского символизма.*

Марк Валерий *Марциал* (43 – 104 гг. н. э.), римский поэт, автор эпиграмм, сатирически изображающих современные ему нравы.



Бедром поводящей искусно.

*Аттик* – декоративная стенка, расположенная над карнизом здания.

*Габриэль, Жак-Анж – французский архитектор XVIII века.*

*Ноэль, Жан-Франсуа-Мишель (1755–1841) и Шапсаль, Шарль (1788–1858) – французские лингвисты.*

*Графито* (или сграфито) – изображение, выцарапанное при помощи особого инструмента на стене, окрашенной светлой краской поверх темной цвета, который, обнажаясь, и образует требуемый рисунок. Графито впервые были введены в Италия в XVI в., Бержере употребляет это название, разумеется, иронически.

*Палатин* – Палатинский холм, один из семи холмов, на которых расположен Рим.

Кладка в колос (*лат.*).

*Роллен, Шарль (1661–1741) – французский ученый, автор «Римской истории».*



*Ораторианцы* – религиозное общество, основанное в XVI в.; вели совместную жизнь в орасториях (молитвенных домах); занимаясь преподавательской деятельностью, пытались приспособить науки и философию к целям пропаганды католицизма. В XVII в. ораторианцы широко распространились во Франции.

*Отен* – французский город родина латинского ритора Эвмена (260–311).

*Бордо – родина латинского поэта и ратора Авсония (IV в. н. э.).*

«Гептамерон» – сборник новелл Маргариты Наваррской (Ангулемской). Вышел в свет в 1558 г., после смерти автора.

*Марк Аврелий* – римский император, философ (121–180), последователь учения стоиков, автор книги размышлений «К себе самому», известной также под заглавием «Мысли».

*Анния Фаустина Младшая* (125–176), дочь римского императора Антонина, жена Марка Аврелия, которого она сопровождала в военных походах (отсюда полученное ею в войсках почетное прозвище «мать лагерей»).

*Увиль, Антуан* – французский новеллист и драматург XVII в.

*Этрапель* – под этим именем французский писатель Ноэль дю Файль (1520–1591), автор «Деревенских шуточных бесед», вывел себя в качестве рассказчика в двух книгах: «Шутки Этрапеля» (1548) и «Сказки и новые речи Этрапеля» (1585). Имя Этрапель взято из греческого и означает «ловкий», «остроумный».



*Деперье*, Бонавентура (ум. ок. 1544 г.) – выдающийся французский писатель-гуманист. В 1537 г. выпустил книгу сатирических диалогов «*Кимвал мира*», представляющую собою один из блестящих образцов гуманистического свободомыслия XVI в.

*Шольер, Никола де* – французский писатель, автор повествовательно-диалогических сборников «*Девять утр*» (1585) и «*После обеда*» (1587).

*Гильом Буше* (1513–1593), – французский книгопродавец и писатель, автор «*Бесед после ужина*».

*Лафонтен, Жан де* (1621–1695), – один из самых крупных французских писателей XVII в., прославившийся своими баснями, изданными под заглавием «Басни Эзопа, переложенные в стихи Лафонтеном» (1668–1694), и «Сказками» (1665–1685), представляющими собою стихотворные повести, которые нередко впадают в непристойность, но полны сатирического содержания и остроумны.

«Виргилий мореходец» (лат.)

*Трошю, Луи-Жюль* (1815–1896) – французский генерал, глава правительства Национальной обороны и парижский губернатор во время франко-прусской войны, своей преступной пассивностью при обороне осажденного Парижа содействовавший взятию французской столицы пруссаками.

*Vite*, Лун (1802–1873) – французский литератор и политический деятель.

*Роуландсон, Томас* (1756–1827) – английский художник, прославившийся своими карикатурами на Наполеона I, мастер социально-бытовой карикатуры.



*Канея* – столица и главный порт о-ва Крит; в 1895 г., когда на Крите произошло восстание греков против власти Турции, Греция приняла сторону восставших и на помощь им направила в Канею эскадру. Европейские державы, в том числе Франция, стали на сторону Турции, и их военные суда обстреливали повстанцев.

*Гимет* – гора в Аттике, славившаяся мрамором и медом.

*Торкемада* (1420–1498) – испанский инквизитор, отличавшийся особенной жестокостью.

Лициний *Лукулл* (106 – 56 до н. э.) римский военачальник, участник похода против Митридата VI.

*Митридат VI* Эвпатор – понтийский царь (I в. до н. э.); непримиримый враг Рима – вел с Римом три войны.

«Старый друг» (*англ.*).

*Босс, Авраам – французский гравёр XVII в.*

*Делла Роббиа, Лука* (1437–1528) – знаменитый флорентийский скульптор.



*Жеан Фуке – французский художник и миниатюрист XV в.*

*Тъёр*, Адольф (1797–1877) – один из вождей либерально-буржуазной оппозиции в период Реставрации, министр при Луи-Филиппе, организатор жестоких репрессий против восставших республиканцев в 1834 г.; руководитель реакционной «партии порядка» после зверской расправы с участниками июньского восстания в 1848 г.; в годы Второй империи – умеренный оппозиционер; руководитель кровавого подавления Коммуны 1871 г.; президент Французской республики с 1871 по 1873 г.

*Мазас – тюрма в Париже.*

*Дворец Бурбонов* – местопребывание палаты депутатов. –  
*Люксембургский дворец* – местопребывание сената.

Фуке, Никола (1615–1680) – суперинтендант (т. е. министр финансов) при Людовике XIV. Обкрадывая государство, он составил себе тройное состояние. В 1661 г. был арестован и после трехлетнего процесса был подвергнут пожизненному тюремному заключению.

*Аякс* – в греческих сказаниях один из вождей греков в Троянской войне; в сражении с троянцами, когда боги прикрыли сражающихся облаками, чтобы облегчить троянцам бегство, Аякс воззвал к Зевсу, прося дать ему возможность умереть при свете дня.

*Фламарион*, Камилл (1842–1925) – известный французский астроном, автор книг: «Популярная астрономия», «Многочисленность обитаемых миров», «По волнам бесконечности» и др.

*Прагматическая санкция* Карла VII – государственное постановление, обнародованное в 1438 г. французским королем Карлом VII и устанавливавшее ряд ограничений для папской власти по отношению к католической церкви во Франции.



*Ламенне, Фелисите де (1782–1854) – французский публицист, философ и политический деятель, развивавший идеи так наз. «христианского социализма». Первоначально правоверный католик, клерикал, и монархист, в 1830 г. он приветствовал июльскую революцию. В 1834 г. выпустил книгу «Речи верующего», в которой критиковал социальный и политический строй Франции. Книга была осуждена папой, и Ламенне порвал с католической церковью, выступив против нее в «Римских делах» (1836). За резкую критику июльской монархии Ламенне был присужден к тюремному заключению. В то же время выступал против коммунистических идей.*

*Иевфай* – библейский правитель иудеев, давший перед битвой обет принести в жертву богу того, кто первым придет к нему после победы, и вынужденный, во исполнение обета, убить свою дочь.

*Иоас* – библейский царь Иудеи, в детстве спасенный от жестокой смерти *Иосавефой*, женой первосвященника, и тайно воспитанный при храме.

*Хамос (Шамаш)* – бог солнца у вавилонян и ассириян; считался также покровителем законов.

*Мизены* – мыс и город в Кампании, стоянка римского флота.

*Бирема* – древнеримское судно с двумя ярусами весел.

*Елена* – в греч. мифол. дочь Юпитера и Леды, жена Менелая, первая красавица Греции. – *Два брата Елены* – близнецы Кастор и Поллукс; их именами названы две яркие звезды в созвездии Близнецов.

*Сервий* Мавр – римский грамматик IV в. н. э., комментатор *Виргилия*.



Поднял мачты (*лат.*).

Поднял паруса (*лат.*).

Нет сомнения, что мачты поднимали перед тем, как пуститься в плавание (*лат.*).

Все вместе отпустили канат (*лат.*).

*Бреаль*, Мишель (1832–1915) – французский филолог, исследователь языка и мифологии.

Флавий Клавдий *Юлиан*, римский император в 361–363 гг. н. э.; автор ряда философских трактатов. Воспитанный в христианской вере, он впоследствии отказался от нее и пытался восстановить в Риме язычество. Отсюда его прозвище Отступник.

*Тертуллиан* (160–240) – христианский писатель, уроженец Африки, много писавший по вопросам христианской нравственности, утверждавший, что в мирской жизни царит одно зло.

«*Война мышей и лягушек*» – греческая пародия на «Иллиаду», написанная неизвестным автором, вероятно, в начале V в. до н. э.



*Элевсинские празднества* – празднества в честь Деметры, греческой богини земли и плодородия, ее дочери Персефоны и мифического изобретателя земледелия Триптолема, имевшие своим центром Элевсин, город в древней Аттике, неподалеку от Афин. Впоследствии к этому культу присоединился и культ Диониса, юного бога вина.

*Великий мантуанец* – *Виргилий* родился близ Мантуи.

*Макробий* – Амброзии Теодозий Макробий, римский писатель (395–423), автор «Сатурналий», бесед на научно-философские темы, и ученый комментатор.

*Метапонт* – древний греческий город в южной Италии.